

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 38

1985



***Наталья КАЛИНИНА***

**ЕСЛИ НАКЛОНИТЬСЯ  
К ЗЕМЛЕ**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 38

---

Наталья КАЛИНИНА

# ЕСЛИ НАКЛОНИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ

ПОВЕСТЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1985

**Наталья КАЛИНИНА**

*Наталья Анатольевна Калинина родилась в Ростове-на-Дону. Окончила Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Переводила с английского языка романы Э. Колдуэлла, Д. Саймонза, Найо Марш. Регулярно выступает в центральной печати с очерками и эссе о деятелях отечественной и зарубежной музыкальной культуры. Автор книги «Музыка может творить чудеса», повестей «На излучине», «Не ветер вея с высоты».*

**Наталья Анатольевна КАЛИНИНА**

**ЕСЛИ НАКЛОНИТЬСЯ  
К ЗЕМЛЕ**

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор О. Н. Ласточкина

---

Сдано в набор 02.07.85. Подписано к печати 21.08.85. А 00385.  
Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,18.  
Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000. Изд. № 2171. Зак. № 1133.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина, издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Женя сидела за шатким столиком возле заставленного горшками с геранью и столетником окошка и писала письмо своей подруге Татьяне, с которой ее связывали не только годы совместной учебы и даже не концерты, которых они прослушали великое множество, пристроившись на ступеньках первого амфитеатра Большого зала консерватории, а еще и полная схожесть взглядов на жизнь. Кому же, как не Татьяне, написать о том, что она скучает по Москве, по их студенческому бесшабашному быту, что здесь, в этом небольшом южном городке, чувствует себя в стороне и от музыкальной жизни и от жизни вообще. «Ты мне, Татуша, не поверишь, но в первый вечер я расплакалась. Хозяйка отвела мне самую лучшую комнату в доме, как здесь называют, «залу». Так вот, в этой самой зале со слониками на ветхом «Шредере», с вышитыми салфетками на допотопном диване, с большим фикусом под старинным, с пятнами, зеркалом я вдруг почувствовала себя никому не нужной, всеми заброшенной. Завалилась на высокую пуховую постель и целый час проплакала. Хозяева смотрели до победы телевизор, после, заперев все засовы, залегли спать. Хозяйка велела мне закрыть на ночь ставни. «Не то, гляди, еще кто-нибудь каменной сдуру шарахнет», — сказала она, подтягивая гиру у отчаянно тикающих ходиков, которые я остановила, едва она скрылась за дверью...

С училищем пока нелегко. Не хватает у нас педагогов, в старом особняке, который нам отвели, еще не закончен ремонт. Да и подготовка у многих студентов на редкость слабая. Не поверишь, Таня, но кое-кому приходится заново ставить руку. И так они зажаты, так скованы за инструментом... В общем, все не так, как я себе представляла...»

Конечно же, она все представляла иначе. Думала, что преподавателю музыки придется заниматься лишь своими прямыми обязанностями. А пришлось и два раза ездить за настройщиком в областной центр... и отбивать натиски директора совхоза, возмечтавшего заполучить студентов-музыкантов на целый месяц для уборки винограда, и уговаривать кровельщиков, чтобы стучали потише, когда идут занятия. Одним словом, бог знает чем и меньше всего музыкой. Сейчас все постепенно входит в свою колею. На дворе стоит ядреная золотая осень, по-южному теплая, с непроглядно черными ночами

и свежими туманными утренниками. В хозяйском саду уже обрезали и скрутили виноградную лозу, ждут теперь заморозков, после которых, как говорят, «лоза лучше рóдит», а там зарюют на зиму.

Женя склонилась над недописанным письмом, но ее мысли уже были далеко. Почему-то нет до сих пор Валерки Русакова. Обычно он по воскресеньям приходит часам к двенадцати и торчит до самого вечера. Поначалу Женя думала, что он проводит здесь время из-за родства с бабой Маней, но потом оказалось, что родство ни при чем. «Когда тебя не было, месяцами носу не казал, хоть и доводится мне троюродным племянником,— все дела у него какие-то,— говорила баба Маня.— А сейчас и дела побоку. Смотри, девка, парень он, правда, хоть куда...»

И баба Маня таинственно поджимала губы.

Этого Жене можно не бояться. Иной раз ей кажется, будто от всех людей ее отделяет прозрачная стена. Ей все за ней видно, все она понимает, что там творится, а вот вмешаться в ту жизнь не может. Это после того, что у них было с Ильей...

— Евгения, ступай обедать,— позвала из соседней комнаты баба Маня.

Теперь стол накрывали не в саду под грушей, а в передней проходной комнате, где от печки шел такой нестерпимый жар, что даже любитель теплых закоулков, черный кот Ибрагим, растянулся на полу под дверью.

Старший сын бабы Мани, Петр Дмитриевич, поспешно встает со своего места, чтобы выдвинуть для Жени стул, и тут же садится, обиженно покосившись на мать. Она еще в самом начале устроила ему разнос за то, что пробовал ухаживать за Женей, и с тех пор в присутствии матери Петр старается уделять Жене как можно меньше внимания. Странные отношения у матери с сыном: Петру под пятьдесят, преподает в школе физику, а сам без оглядки слушается мать, хотя по складу характера совсем на нее не похож. «Размазня»,— презрительно называет его баба Маня. Не то, что его младший брат, Александр, которого Женя видела всего лишь раз. Тот даже внешне вылитая мамочка, а вот не сложились у бабы Мани отношения с невесткой, и к сыну, по ее собственному выражению, «похолодала душой».

Все трое молча едят густой борщ со старым салом — за столом разговаривать не положено,— пшеничную кашу с магазинным молоком. К концу обеда на пороге появляется Валерка со своим дежурным «привет семье», веселый, попахивающий мазутом и бензином. Баба Маня обедать его не приглашает — у них это не принято,— но домашнего консервированного компота все-таки наливает. (Только для Валерки.)

— Ну, как, баба Маня, спичек много запаса? — спрашивает Валерка чуть ли не с порога.— Я слышал, дорожать будут.

— Да неужто? — всплескивает руками баба Маня.

— Говорят, коробок десять копеек будет стоить. Так что запасай. Их уже дают по пять штук в руки.

Валерка садится за стол и, оттопырив мизинец с черной мазутной каемкой, пьет маленькими глотками густой вишневым компот, озорно поглядывая на Женю.

Женя видит презрение в круглых серых глазах Петра Дмитриевича. Да, он презирает Валерку за то, что тот постоянно разыгрывает мать, которая принимает все за чистую монету, за то, что Женя уделяет ему слишком много внимания и, конечно же, за то, что Валерке дано быть душой любого общества.

— Ну ладно, Петро, чем дуться на меня, лучше бы своих учеников в порядок привел,— самым серьезным тоном говорит Валерка.— Сейчас твой вечерник Митька Кусков за рупь налил мне целую канистру из казенного бака. Он у тебя вроде бы в отличниках расхаживает?

Петр Дмитриевич краснеет, и Женя чувствует, что ему неловко перед ней за своего вечерника, а больше за свою беспомощность перед лицом дерзкого обидчика. Он озабоченно ест крупные черные вишни, громко звеня ложкой о граненый стакан, и выплевывает плохо объеденные косточки прямо на синюю в горошек клеенку.

А Валерку несет дальше. Подмигнув Жене, он долго и притворно внимательно смотрит на Петра, потом, наклонившись в его сторону и понизив голос до таинственности, говорит:

— Иду я сегодня по базару и вижу: впереди фигура знакомая маячит. Ближе подхожу — Алевтина. Повисла у военного на руке, а кто военный, разобрать не успел. Мыркнули оба в толпу, только полковничьи звезды перед глазами сверкнули.

Валерка явно перебрал, и Женя от неловкости задвигала под столом ногами. Алевтина — бывшая жена Петра, с которой он до сих пор не развелся и вроде бы продолжает питать нежные чувства.

— А я ему чего, старому дураку, и талдычу,— с удовольствием подхватывает баба Маня.— Нагуляет на стороне, а ты до гробу лименты платить будешь.

Петр наскоро вытирает рот посудным полотенцем и, встав из-за стола, идет к большому сундуку в углу за печкой, где баба Маня держит запасы муки и круп.

— Ибрагим, Ибрагим, давай на лавке посидим,— зовет он, и черный кот с громким мяуканьем бежит на зов хозяина и, прыгнув ему на колени, кладет передние лапы на плечи и заглядывает в глаза. Баба Маня направляется к печке и сердито двигает кочергой тяжелые чугунные конфорки. Валерка самодовольно глядит на Женю, наслаждаясь своим триумфом.

В такие минуты Женя презирает его всей душой, и едва ее презрение облекается в подходящие слова, как Валерка достает из-за пазухи толстенную книгу и великодушным жестом швыряет на стол.

— Держи, Петро, свою «Королеву Маргушу». Насовсем дарю. А мы с вами, Евгения Александровна, едем на природу. Как говорят у их в Филадельфии, на уик-энд. Заметано, а?

Женя не возражает. Она уже успела привыкнуть к этим, как ей кажется, ни к чему не обязывающим лихим поездкам по степным проселкам вдоль поникших в предчувствии стужи беспросветно желтых лесополос, между распаханными, точно вывернутыми наизнанку полями. Там и дышится и думается легко.

Валерка с шиком выжимает газ, и его новенький рубинового цвета «жигуль» срывается с места, точно необъезженный конь. Они вихрем проносятся по утопающим в осенней блеклости садов окраинным улочкам, мимо поросших величественными зарослями бурьяна развалин взорванной немцами церкви.

В степи по-осеннему тихо и грустно оттого, что голубое безоблачное небо возвращает в памяти еще одно ушедшее лето.

— Ну что, барышня, нос повесила? Воспоминания гложут?

Он поворачивает к ней свое смуглое, с легкой раскосинкой рыжекарих зрачков лицо и долго и серьезно смотрит ей в глаза. Машина медленно и неохотно замирает посреди плохо накатанной степной дороги, прочертившей своей неверной полосой степь до самого горизонта.

Внезапно Валерка извлекает из-под сиденья бутылку гранатового сока и два хрустальных стакана, аккуратно завернутых в полотняную салфетку.

— Как в лучших домах Лондона и Жмеринки, — провозглашает он, ловко разливая бордовый пенистый сок по стаканам. — Ну, за меня — я сегодня именинник — и за нас с тобой, раз вокруг никого нет.

Он жадно опустошает стакан. Женя видит, как дрожат его тонкие, длинные пальцы, крепко обхватившие ледяные узоры хрусталя.

— Если я скажу, что люблю тебя, это прозвучит слишком банально. Поэтому я об этом говорить не буду и целовать тебя тоже, раз ты этого не хочешь. А вот когда мы поженимся...

Голос Валерки звенит на неестественно высокой для него ноте, и Женя понимает, с каким трудом дается ему эта игра в самоуверенность.

— Здесь ты, конечно, жить не захочешь, да я тебе и не позволю торчать всю жизнь в такой дыре, — продолжает Валерка. — Мы с тобой уедем. В Москву. В Париж. В Рио-де-Жанейро.

— Ты это серьезно? Или для бабы Мани?

Валерка приближает к ней свои суженные татарские глаза.

— А я, между прочим, богаче, чем у нас думают. Только я не хочу

свое богатство копить, как при старом режиме, я хочу транжирить. Я человек современный. Эх, давай еще взбодримся.

И снова он жадно пьет. Женя видит тонкую струйку, сбегающую по его острому, с ямочкой подбородку, и ей становится жаль и Валерку, и себя, и всех людей, беззащитных перед натиском любви.

— Если по-честному, то я люблю тебя. И хочу тебя беречь. Ты такая... нездешняя, что ли. Сила небесная, давай-ка лучше отсюда сматываться.

Он рвет с места и бешено гонит машину по пыльной дороге, которая ожесточенно швыряет с ухаба на ухаб их легкую рубиновую скорлупку.

— Чтой-то вы сегодня рано объявились,— комментирует баба Маня, рассеявшаяся с соседкой на лавочке возле парадного входа.— Небось зябко-то в степу.

— Да земля больно холодная и жесткая,— развязно парирует Валерка.— А в машине тесно. Вот сменю ее скоро на «Волгу», тогда и зимой можно будет, гм... прокатиться.

Он резво взбегает на крылечко и распахивает перед Женей тяжелую, дубовую дверь.

Их мгновенно обволакивает спертый жар темной прихожей, куда выходит выложенная синими аляповатыми изразцами печка, и Женя, прислонившись лбом к их неровной поверхности, вдруг неожиданно для себя громко всхлипывает. Одна, совсем одна среди чужих и чуждых ей по своим представлениям о жизни людей. Впереди длинный беспросветный вечер с унылым ужином, потом черная, душная ночь...

— Это ты от радости, что такой жених на горизонте замаячил? — слышит она из темноты срывающийся на фальшиво высокую ноту голос Валерки.— Плачь, плачь, девица. Такое счастье не каждой из вас приваливает.

Она улыбается Валерке, хотя он и не видит в темноте ее лица.

— Ладно, хватит сантиментов. Да здравствует трезвая проза жизни! — надрывно кричит Валерка.— За прогулку плати натурой. А ну-ка садись и играй мне весь вечер Шопена!

...Старенький «Шредер» дрожит и стонет под натиском фантазии. Слоники звенят и угрожающе покачиваются на его крышке. Валерка сгребает их своими огромными ручищами и швыряет на кровать. Он стоит сзади Жени, и ей кажется, вот-вот схватит ее за руки и прервет этот безудержный поток срывающихся от напряжения звуков. Ей и самой хочется, чтобы он остановился, достигнув своего безжалостного взлета, но пальцы несутся дальше, уже неподвластные посторонним мыслям и желаниям.

После они долго молчат. Баба Маня просовывает в приоткрытую дверь закутанную в пуховый платок круглую голову и сокрушенно качает ею, увидев раскиданных по кровати слоников.

— Приличные люди теперь не слонов, а модели автомобилей собирают, а ты, баба Маня, все в царском веке пребываешь,— говорит Валерка со своей обычной иронией.

Дождь лил уже третий день, и серый уличный свет, проникавший в высокие окна класса, наполнял его густым вязким сумраком. Женя слушала ля-мажорную сонату Моцарта, смотрела на одухотворенный профиль своего лучшего студента Миши Лукьянова и думала о том, что если и завтра кровельщики не выйдут на работу, потолок наверняка протечет. Еще до начала занятий она попробовала поговорить об этом с директрисой, но та лишь махнула рукой и, громко стуча каблуками, скрылась за дверью своего класса.

— Спасибо, Миша,— дослушав заключительный аккорд, сказала Женя.— Если отшлифовать отдельные пассажи, можно хоть на конкурс Чайковского.

— Вы шутите, Евгения Александровна. Для этого нужно родиться избранным, а я...

«Этому мальчику явно не хватает уверенности в себе,— подумала Женя.— Откуда ей взяться? Отец забулдыга, мать недавно закатила скандал в преподавательской, требуя, чтобы не портили ей сына. «Нехай на завод идет. Ишь барин какой!» — кричала она, размахивая руками перед носом Марьи Алексеевны.

В Центральной музыкальной школе таланты лелеют, с первых шагов прочат в лауреаты. А сколько таких, как Миша, по-настоящему ярких дарований остается нераскрытыми? Сотни? Тысячи? Поярче тех, которых тщеславные родители с трех лет усаживают за инструмент».

— Миша, вы мне напомнили французского пианиста Жана Помье. Он покориł всех на конкурсе Чайковского как раз исполнением этой сонаты. А вот с оркестром сыграл неважно, потому что в первый раз в жизни. И вырос он в таком же маленьком городке, как наш. Музыка с ранних лет завладела его душой, вот он и добился своего. Вы и внешне чем-то на него похожи.

— Я тоже люблю музыку больше всего...

— Хотите, мы будем заниматься с вами каждый день? — неожиданно предложила Женя.

— Хочу, только у меня нет денег платить вам за уроки.

Женя резко встала со стула и поспешила к окну, чтобы Миша не заметил ни с того ни с сего навернувшихся слез.

— Миша, жду вас завтра к трем часам. Помимо этого, я договорюсь с Марьей Алексеевной, чтобы вам разрешили ежедневно упражняться на рояле в училище. С сегодняшнего дня.

Она задержалась у окна, чтобы дать Мише возможность уйти.

Слышала, как он аккуратно складывает ноты в свою скрипучую сумку из грубой клеенки. «Илья тоже вырос в глухой провинции,— думала она.— Наверно, вот так же робел в присутствии педагогов, а потом вдруг уверовал в свои силы и быстро взлетел на гребне славы. Меня раздражает в нем его уверенность в своей исключительности, но кто знает, может, без нее невозможен настоящий успех?»

Директриса подняла на Женю свои большие, вечно удивленные глаза и казенно улынулась.

— Садитесь, Евгения Александровна. Вы, я полагаю, по поводу кровельщиков? Говорила, говорила с начальником РСУ. Обещает прислать новых. Вы довольны?

— Когда? Не сегодня-завтра протечет потолок и...

— Собственно говоря, что вы обо всем печетесь? Так вам никаких нервов не хватает.

— Но ведь могут погибнуть рояли и...

— Если это случится, мы подадим в суд на РСУ и они возместят нам убытки.— Марья Алексеевна улынулась, сверкнув ослепительно белыми зубами.— Я двадцать лет проработала директором музшколы и отлично знаю все наши законы. Со строителями иначе, чем через суд, каши не сварить.

— Марья Алексеевна, а что если нам нанять частных?

— И заплатит им из своего кармана? — Марья Алексеевна щелкнула замком черной блестящей сумки и вынула из нее пудреницу.— У вас есть ко мне еще какое-то дело?

— Да. Я прошу вас разрешить Михаилу Лукьянову упражняться на рояле в стенах училища.

Марья Алексеевна шумно встала из-за стола, прошла к окну.

— Опять этот Лукьянов,— услышала Женя ее раздраженный фальцет.— Вы носите с ним как с писаной торбой. Рихтера, что ли, хотите вырастить?

— А почему бы и нет? Я считаю его по-настоящему талантливым музыкантом, а долг педагогов лелеять таланты.

— Нет, нет и нет,— громко отрубил Марья Алексеевна.— На государственных роялях имеют право упражняться лишь наши педагоги. Если мы допустим к ним студентов, подумайте сами, во что они превратятся к концу учебного года. Долг педагогов беречь государственное имущество.

— Но ведь Лукьянов — явление исключительное,— попыталась возразить Женя.— И потом он так бережно, я бы даже сказала, с благоговением относится к инструменту.

— А вам известно, моя дорогая, из какой он семьи? — Марья Алексеевна подошла к Жене вплотную и теперь нависала над ней обтянутым в мохеровый свитер бюстом.— Его отец привлекался к уголовной ответственности, мать...

— А мне наплевать на ваши трезвые доводы! — услышала Женя свой звенящий от возмущения голос. — Вы не имеете никакого права запретить Лукьянову упражняться на рояле в стенах училища. Иначе я поставлю в известность инструктора горкома.

Женя видела больше, чем всегда, удивленные глаза Марьи Алексеевны. Этих слов директриса ей никогда не простит. Ну и пускай. Она не намерена поджимать хвост перед начальством. А нервы у нее в последнее время действительно на пределе.

К ее удивлению, Марья Алексеевна улыбнулась и, протянув свою пухлую белую руку, похлопала Женю по плечу.

— Я тоже была такой же горячей в молодости. К сожалению, растратила свой жар по пустякам. То же самое делаете и вы. А насчет Лукьянова я подумаю. Он действительно одаренный студент.

Женя вышла в холодный, сырой мрак осенней ночи и, раскрыв над головой зонтик, устало побрела в сторону дома. Валерка нагнал ее на углу Кленовой аллеи, распахнул изнутри дверцу «Жигулей». Она благодарно плюхнулась на мягкое кожаное сиденье.

— Ты уж извини, к подъезду не подал, чтобы не портить настроение твоей Гранд-Марье. Ее недавно старый хахаль бросил, и не на кого ей, бедной, тачку покатить.

— А тут я на дороге оказалась...

Валерка присвистнул.

— А ты плюнь на нее. И на все вокруг. Играй себе Шопена и береги свои нервы.

— Да что вы все так заботитесь о моих нервах? — вдруг обозлилась Женя.

— Спокойно, спокойно, детка. Бурные эмоции нужно проявлять... сама знаешь где. Ну, еще, может, за роялем. А в жизни...

— А в жизни на все должно быть наплевать. Так, что ли?

— Именно. Какая ты у меня понятливая.

— Ну и плюйте себе на здоровье. Сидите в своем стоячем болоте и плюйте на все вокруг. И берегите свои драгоценные нервы.

Женя нащупала в темноте ручку, и когда Валерка затормозил у светофора, выпрыгнула из машины и, не раскрывая зонта, побежала в глубь темного и глухого переулочка. Она долго слышала отчаянные Валеркины сигналы, потом они смолкли, и остался лишь равнодушный шелест дождя о мостовую да ее гулкие торопливые шаги.

Баба Маня собирала на стол. Увидев мокрую, растрепанную Женю, всплеснула руками.

— Фулюганы пристали? А где же Валерку черти носят?

— Он меня подвез, — тихо сказала Женя, стаскивая мокрый плащ.

— Так, значит, это он, подлюга, руки распустил? Ты это правильно, не позволяй ему раньше срока баловства. Он тут не одну девку по кустам водил, а после жениться не взял.

— Я и не собираюсь за него замуж выходить,— устало бросила Женя по пути в свою комнату.

Баба Маня шла за ней следом.

— Как это не собираешься? Зачем же тогда время проводишь? А парень он хоть куда — от бабки ему цельный пуд золота достался. Она у монашек казначейшей была, так что натягала, будь здоров, монастырского добра.

— Ну и что?

— А то, что ты об пианину все пальцы побила ради заработков. Они у тебя страшные и пухлые, как у доярок. А за ним будешь как за каменной стеной. Я же знаю...

— Что вы знаете? — вяло поинтересовалась Женя.

Ей вдруг все на свете стало безразлично. Пускай поговорят, послетничают. Люди любят устраивать чужие судьбы. Женя видела перед собой спокойное, румяное лицо бабы Мани. Как бы ей хотелось быть на ее месте, чтобы вот так же деловито, без суеты вести несложное домашнее хозяйство, сажать по весне картошку, солить огурцы... Может, на самом деле в такой жизни больше смысла, чем в этой каждодневной нервотрепке? Женя встряхнула коротко остриженной головой и уткнулась в пахнущий домашним теплом ситцевый передник бабы Мани.

— Я так устала. Вы не представляете...

К чаю баба Маня достала банку душистого майского меда и все подкладывала Жене в тарелку теплые пышки. А потом явился Валерка с огромным букетом мокрых, благоухающих поздней осенней свежестью астр, который он швырнул с порога ей на колени, обдав ее лицо обжигающе холодными брызгами.

— Фу, скаженный, разве ж так дарю букеты? — беззлобно сказала баба Маня. — Небось весь сад у Польки обнес. Садись, что ли, чай пить.

— За чай спасибо, только я с непрощеным грехом за стол не сяду. — Валерка бухнулся на колени прямо у двери. — Милостиво прошу простить меня, Евгения Александровна. Замучился от тоски по вашему ласковому слову. Ну, скажите же...

Женя положила руку на его кудрявую цыганскую голову. «Паясничает или серьезно? — думала она. — Подчас это так трудно понять».

— Прощен, прощен, прощен! — И Валерка, подхватив на руки мирно спавшего на табуретке Ибрагима, закружился в вальсе, следя мокрыми ботинками по чистому крашеному полу.

— Ну, хватит дураковать на ночь глядя, — проворчала баба Маня. — Если хочешь чаю, садись а нет — так вытряхивайся и дай людям покой.

— Не будет вам покоя, не будет. Я расплескаю ваше стоячее болото.

Валерка хитро подмигнул Жене.

— Ты лучше чаем не плескай на клеенку,— подал голос молчавший до сих пор Петр.

— Ты, Петро, не по делу не выступай. Дыши носом и поливай по утрам фикус. А за Алевтиной приглядывай.— Валерка опасно скопил на Женю глаза.— Замолкаю в страхе перед новыми катклизмами...

В ту ночь Женя долго не могла заснуть. Вертелась на мягкой перине, и мучило ее не воспоминание о разговоре с директрисой и даже не опасение за недокрытую крышу, а чувство своей вины перед Валеркой. Да, она виновата в том, что не любит его. И пожертвовать собой не сможет. Вот и с Ильей они расстались потому, что каждый думал лишь о своем счастье. Начать бы все сначала, с той самой неожиданно-негаданно свалившейся на них хмельной июньской ночи... Нет, после Ильи она никого не сможет полюбить, никого. И Женя вспомнила запах его горячей, по-девичьи нежной кожи. Так пахнет в весенней степи, если наклониться к земле...

Зайдя утром в класс, Женя в первую очередь подняла глаза к потолку. Ей показалось, что лепные украшения угрожающе набрякли всеми своими виноградными гроздьями и резными листьями. Кровельщиков, конечно, нет и в помине. «Какой дурак в такую дождину полезет за одну зарплату на крышу? — сказала за завтраком баба Маня.— Это ж не у себя над головой каплет».

Миша Лукьянов сегодня играет все на память. Они с упованием занимаются допоздна. Наконец Женя кладет ладонь на обшлаг его обтрепанной байковой куртки.

— Когда вы успели все это выучить? И где?

— Вчера занимался в Красном уголке механического техникума, сегодня с утра здесь... Я еще хочу сыграть вам сонату Листа си-минор, если вы не очень устали...

И Миша начинает играть величественное, нисходящее в таинственные глубины жизни вступление, возвещающее о предстоящей жестокой борьбе светлых и темных сил.

Женя в ужасе замечает на потолке большое серое пятно, с которого вот-вот сорвется тяжелая мутная капля.

— Миша, потолок! — кричит она, и схватив со стула свой плащ, набрасывает его на лакированную крышку рояля.— Я... я побежала за людьми. Вот еще шаль...

Во всем особняке ни души. Лишь в комнатке под лестницей, где сидит сторож, горит свет.

— Дядя Федя, потолок потек в пятом классе! — кричит Женя, распахнув дверь в сторожку.

Женя сидит возле печки, опустив ноги в ведро с горячей горчичной водой. Теперь все тревоги позади, позади. Баба Маня лишь качает

головой: «До самого первого секретаря добралась. Ну, и ушла ж ты, девка». Петр нет-нет подымет голову от контрольных работ, которые проверяет за обеденным столом, и улыбнется Жене радостно и доброжелательно...

«Дорогая Татуша!

Я тебе уже описывала все свои злоключения с крышей и с Гранд-Марьей, как ее прозвали с легкой руки Валерки. Так вот, крыша в полном порядке, даже на чердаке сменили подгнивший настил, а вот Марья... С того самого дня она считает меня своим личным врагом. Здоровается только в присутствии людей, обычно же шествует мимо, гордо неся свой бюст. Честно говоря, меня это мало заботит, поскольку дела в училище идут, тьфу-тьфу, неплохо. Мои студенты все без исключения сделали заметные успехи, и это было отмечено на классном вечере. Я уж не говорю о Мише Лукьянове — тот шагает семимильными шагами. Благодаря Мише я тоже стала поигрывать, даже подумываю выступить с сольным концертом (пока это в неопределенном будущем). Все-таки неправы те, кто считает, что педагогическая работа неблагоприятная. Нет, нет и нет. От иных студентов получаешь такой заряд энергии, что хочется горы свернуть. Мы с Мишей проводим много времени вместе. Он обычно провожает меня домой, требуя все новых и новых рассказов о концертах, консерваторской жизни. Вообще я всерьез начинаю подумывать о том, что Мише нужно ехать в Москву. Знаешь, у нас большая радость: позавчера привезли две новенькие «Эстонии». У одной просто божественный звук, как у «Стейнвея». Теперь мы будем устраивать в нашем зале музыкальные лектории силами студентов. Пускай люди послушают настоящую музыку, авось что-нибудь западет в душу...»

Женя задумалась. Написать или не написать Татьяне про Валерку? Собственно говоря, что о нем написать? Постепенно он стал от нее отходить. От их редких встреч у Жени потом долго держался привкус грусти. Валерка уже не балагурил, как прежде, а больше молчал, как-то виновато отводя глаза.

Вчера он неожиданно ввалился в класс, отечески погладил по голове Мишу и, приложив палец к губам, уселся в угол за роялем. Женя все время видела его загадочно ухмыляющуюся физиономию, и это мешало ей сосредоточиться на музыке. Неожиданно Миша сбился на одном из пассажей сонаты Бетховена и долго не мог начать с того же места.

— Отдохни, Миша, — сказала Женя. — Продолжим через полчаса.

Миша встал и, глянув на нее как-то уж больно пристально, быстро вышел в коридор.

— А вы, вижу, уже на «ты», — вставая из своего угла, отметил Валерка. — Вовсю у вас дело идет.

Женя не заметила подвоха и пустилась объяснять Валерке, что, к счастью, они понимают друг друга с полуслова, а иной раз даже без

слов, что, перейдя на «ты», Миша стал меньше робеть в ее присутствии, а значит, исчезла скованность за инструментом.

— Да, я бы сказал, он слишком уж раскован. И не только за инструментом. Видел, как он тискал тебя на бульваре. Ей-богу, не думал, что ты уже в таком возрасте, когда тянет на студентов.

Что сказать ему на это? Объяснить, что тогда, на бульваре, она рассказывала Мише об одном из концертов Ильи в Большом зале консерватории и вдруг, ощутив в груди внезапную боль, остановилась посреди аллеи. Тогда-то Миша и обнял ее за плечи, крепко, даже властно, и тут же, испугавшись своего порыва, виновато опустил руки. А она уже справилась с этой болью, и снова мерцал и скрипел под их неторопливыми шагами подсиненный ранними декабрьскими сумерками снег, остро поблескивали сквозь голые ветки кленов только проклюнувшиеся зимние звезды. И Женя вдруг почувствовала, что они сияют и для нее тоже. Что не все хорошее и светлое осталось позади, что она все еще любит, любит Илью.

— Тогда на бульваре... Да, тогда, на бульваре я поняла, что во всей моей жизни есть лишь один человек. И его я не забуду никогда.

Он молча надел шапку и вышел из класса.

Женя не ошиблась: директриса действительно затаила на нее злобу и частично выплеснула ее на экзамене по специальности. Заявила в присутствии приехавшего из областного центра представителя отдела культуры обкома, что «Славянова не придерживается рамок учебной программы, где черным по белому написано, какие произведения должны играть учащиеся музучилищ на каждом курсе. К примеру, Лукьянов, этот бесспорно одаренный юноша, играет слишком мало произведений классиков и современных советских авторов, заостряя внимание на романтическом репертуаре. Конечно, это не его вина, а воля педагога, с которого мы и обязаны требовать со всей строгостью. И потом Славянова уделяет Лукьянову слишком много внимания, что происходит в ущерб другим студентам».

Тут со своего места поднялся Михаил Андреевич Акулов и сказал, что Женины студенты сделали за семестр поразительные успехи, в чем он прежде всего видит заслугу молодого педагога. «Дай только бог, чтобы Славянова у нас удержалась, а не последовала, подобно другим залетным птичкам, в края с более здоровым климатом. Кстати, это во многом зависит от нас».

Садясь, он выразительно глянул на Марию Алексеевну.

В итоге Мише, конечно же, поставили пятерку. «Я бы даже хотел украсить ее плюсом,— сказал все тот же Акулов.— Но его мы лучше зачет педагогу Лукьянову Евгении Александровне Славяновой. Надеюсь, возражать не станет никто».

Все дружно кивнули головами, лишь Гранд-Марья притворилась поглощенной изучением ведомости. Когда экзамен окончился, Михаил

Андреевич задержал Женю в зале и, склонив свою седую, с листовской шевелюрой голову, поцеловал ей руку в присутствии всего педсовета.

— Я вас прошу, Евгения Александровна, не забывать старика. Мне бы очень хотелось послушать вас, вместе помузицировать, потолковать за чашкой чая о жизни.

— У него дома жрать нечего, зато книжек до самого потолка,— говорила за ужином баба Маня, выслушав Женин рассказ об экзамене.— Две рояли, а картин, картин... И все старинные божественные. Он их музею завещал после смерти, а сам на одну зарплату живет. И добро бы здоровый был, а то...— Баба Маня махнула рукой.— Я бы на его месте ездила, как барыня, по курортам. И нехай бы уж своим детям оставил...

— А у него нет, что ли, детей? — поинтересовалась Женя.

— Сын в Америке живет, в каждом письме отца в ихнюю страну тянет, а он...

— Он говорит, что родился в России и умереть хочет здесь же,— вмешался молчавший до сих пор Петр.

— Он всю за границу объездил,— продолжала баба Маня.— И жил там, сказывают, как царь. Покойница жена много богатства ему оставила. Она сама нерусская была. Как она померла, он домой сбежал.

Баба Маня повернулась к коробу и вынула из него оранжевые, с поджаристыми прожилками ломти печеной тыквы, которую на юге называют кабаком, разложила их прямо на клеенке.

— Андрейч говорит, там у их такой еды нету — понастругают всего и размажут по тарелкам, а после в них вилками тыкают. «А я,— говорит,— крестьянский сын, на бакше вырос и солнце надо мной русское было и небо. И арбузы попривык кушать от души, а не с вилочки. Вот с того и не выдержал там».

— Вас, мать, послушаешь, так выйдет, что Акулов в Россию из-за арбузов вернулся,— усмехнулся Петр Дмитриевич.

— Ни черта ты не понял,— спокойно констатировала баба Маня.— Ладно уж, хватит попусту языком молоть. Берите, пока не остыли, кабак, да со стола уберу. А то скоро четвертая серия про энтого француза, что книжки любовные писал. Ну, и любили ж его бабы...

После ужина Женя села заниматься. Едва она коснулась клавиш, как в дверь заглянул Петр Дмитриевич.

Последнее время он частенько заходил в Женину комнату, когда она садилась за инструмент, и, пристроившись на табуретке в углу, изредка приговаривал: «Вот это да!» Но сегодня он отчаянно скрипел табуреткой, и Женя поняла, что ему не терпится что-то рассказать.

— Здорово у тебя получается. Не понимаю, почему тебя по телевизору не показывают? Вчера там один старик лысый все головой тряс, а сам тише тебя играл. У тебя пальцы так и мелькают, а он раз ударит и глаза к небу. Умора.

Женя лишь улыбнулась наивности Петра. А тот, ободренный ее улыбкой, продолжал:

— Акулов тоже красиво играет. Он, когда приехал сюда, всё концерты устраивал. Бесплатные. И своих учеников выступать заставлял. Это еще когда директором музыкальной школы был. Они и в колхозы ездили и по заводам. А после на него анонимку настрочили. Вроде такому человеку нельзя с молодежью работать, дескать, чему он их научит. А тут его любовные дела...

«Конечно же, такой человек, как Акулов, не может прожить без любви,— думала Женя.— Он, безусловно, натура увлекающаяся, страстная, даже, наверно, непостоянная. Как Илья... Почему я последнее время так часто думаю о нем?»

— Он приютил свою ученицу. Отца у нее на фронте убили, мать от туберкулеза померла. Сперва как дочку растил, а после... Одним словом, всякое тут болтали. От скуки. Да и от злости. Елена тоже от туберкулеза сгорела.

— А что, разве это преступление, если он действительно полюбил ту девушку? — с неожиданным жаром спросила Женя.— Кто может осудить человека за любовь?

Петр долго изучал рисунок на половике у порога.

— Дак она ж ему в дочки годилась. Даже во внучки,— тихо сказал он, не отрывая глаз от пола.

— Ну и что? Гете на самом склоне лет влюбился без памяти в семнадцатилетнюю девочку, Тютчев полюбил подругу своей дочери... Я считаю, счастлив тот, чье сердце и в старости открыто для любви.

— Ты так думаешь?

— А вы думаете, любить могут только молодые? Наоборот, они-то, как правило, и не умеют любить. Потому что... потому что в молодости мы еще не научились прощать.

— Н-да, н-да,— приговаривал Петр Дмитриевич, уставившись в одну точку прямо перед собой.— Прощать, говоришь.— Внезапно его глаза забегали, на лице прорезалась ухмылочка.— Интересно, Ибрагим простил мне, что я его вчера нафталином натер? Блохи так и сгали. Ибрагим, Ибрагим,— громко позвал он и встал с табуретки.— А я знаю, кто накатыл ту анонимку.

Петр Дмитриевич быстро вышел из залы.

Женя была слишком поглощена своими мыслями, чтобы обратить внимание на странное поведение Петра. Она думала о том, что нужно непременно написать письмо Илье. Но как, как объяснить ему, что она все поняла?

Женя в смятении ходила из угла в угол, бессмысленно глядя на свое отражение в старинном мутном зеркале. В его глубине мелькала и мельтешила ее беспокойная тень, а в печной трубе завывал холодный

ветер, грозно гремел по крыше оторвавшимся листом железа, заставляя человека проникнуться признательностью к уютному домашнему теплу и покою.

Вечером накануне старого Нового года неожиданно появился Валерка в парадном костюме и при галстуке. Вытащил из-за пазухи букет белых гвоздик в шуршащем целлофане и галантно склонил перед Женей голову.

— Явился, не запылится,— комментировала от печки его приход баба Маня.— Ну, и с чем пожаловал? — по-родственному прямо поинтересовалась она.

— Хочу увести вашу девицу из ее скромной кельи в свой замок. Да не насовсем, баба Маня, не пугайся. На встречу Нового года. Покорнейше просим вашу милость не побрезговать скромным угощением в еще более скромном домашнем кругу.

Женя в нерешительности переводила взгляд с Валерки на бабу Маню. Как ей быть? Не хочется сидеть целую ночь в чужой компании, в то же время от своих дум можно рехнуться. Тем более завтра выходной.

— Ну, едем? — вопрошал Валерка, теребя ее за руку.

— Сейчас переоденусь,— решила Женя и побежала в свою комнату.

Она слышала из-за стены бойкий Валеркин голос. «Небось, опять бабу Маню разыгрывает. А я, кажется, соскучилась по его балагану». Слышала Валеркин заливистый, чуть ли не истеричный смех. Давно она не примеряла свое длинное концертное платье.

— Вот это да! — восхищенно сказал Петр Дмитриевич, когда Женя появилась в передней комнате.

— Мослы-то, мослы так и торчат в разные стороны,— отметила баба Маня.— Тебе бы мяса нарастить — хоть куда была бы девка!

Валерка не сказал ничего. Снял с вешалки Женину мохнатую шубу, осторожно накинул ей на плечи.

— Ждите к утру, а лучше совсем не ждите,— крикнул он уже с порога, и едва за ними закрылась дверь, подхватил Женю на руки и понес к машине.— Простуда с ног начинается. Не хватало тебе к больной душе еще и воспаление легких подхватить. Эх, сила небесная, вскружила ж ты мне, старому дураку, седую голову!

Он посадил Женю на переднее сиденье «Жигулей», быстро обошел вокруг машины и очутился рядом.

— Вот так бы увести тебя на край света и...

— А где он, этот край? — тихо спросила Женя.

— Там, где будем только мы с тобой... Эх, поехали.

«Мне тоже хотелось увести Илью на край света,— думала Женя, уткнувшись подбородком в колючий воротник своей шубы.— От развязных девиц, виснувших у него на шее после каждого концерта,

от слишком общительных друзей. Может, я была не права, желая сохранить его только для себя?..»

— Опять ты думаешь не обо мне, — капризно сказал Валерка. — Смотри, как бы я не заставил тебя силой сосредоточиться на моей персоне.

Валерка не спеша ехал по тихим, укутанным пушистым снегом улицам. Жене казалось, что он умышленно выбрал самую дальнюю и глухую дорогу, чтобы подольше побыть с ней наедине на фоне сказочно белого зимнего царства.

— Помнишь, как мы с тобой мотались по степи? — спросил он, не отрывая взгляда от дороги.

— Помню, — не сразу откликнулась Женя. — С тех пор мне никто не предлагал руку и сердце.

— Смеешься, а для меня это самые счастливые воспоминания. — Валерка тряхнул головой. — Эх, тогда я еще больше дурака валял, а потом втюрился в тебя не на шутку. Что прикажете делать?..

В большой комнате, куда Валерка ввел Женю, на мгновение повисла звенящая тишина.

— Перед тобой вся местная знать от интеллигенции и... так далее, — сказал Валерка. — Прошу любить и жаловать.

По имени он представил Жене лишь молодую девушку с густо подведенными синими веками

— Светлана, дочь директора завода, на котором я служу, как ты знаешь, в инженерах. Между прочим, тоже музыкантша. Ладно, а теперь веселимся кто как может. Музыку, маэстро!

Валерка нажал на блестящую кнопку сложной радиоаппаратуры, которая послушно отозвалась надсадно орущими голосами какого-то ВИА. Он изогнулся всем туловищем перед Светланой, предлагая ей разделить с ним бешено ухающий танец.

Женя отошла к стоящей в углу елке, чтобы не мешать танцующим, залюбовалась разноцветными игрушками. Сколько лет у нее не было своей елки? Пять? Десять? Наверное, с тех пор, как умерла бабушка. С тех пор в их доме по-казенному пахнет табаком и пылью, завяли цветы на подоконниках из-за того, что отец сует в них окурки, зато вместо старой громоздкой мебели появилась легкая, вся устремленная ввысь современная стенка и отделанная хромом спальня. А ее старенький «Беккер» с тающими клавишами заменили блестящим светло-коричневым (в тон стенке) «Фёрстером» с неподатливой, точно погруженной во что-то вязкое клавиатурой. По вечерам у них частенько собираются гости, жуют соленые галеты и маленькие бублики, согнувшись над низким стеклянным столиком, а отец с гордостью демонстрирует им японскую стереосистему...

— Вы, девушка, я вижу, скучаете. — К ней подошел высокий парень в дымчатых очках. — Представляюсь: Аркадий Антонович,

для вас лично Аркадий, гм, так сказать, председатель местного общества книголюбов, а по-простому, директор книжного магазина. Интересуетесь этим делом?

— Да, только в последнее время приходится читать в основном ведомости и прочую казенную литературу.

— А зачем читать? Главное, чтобы они у тебя в шкафу стояли, корешок к корешку, серия к серии. Между прочим, серийные — они дороже ценятся. Как собрания сочинений. Ну, а красенький Дюма — предел мечты каждого книголюбца. Вы москвичка?

— Да, я там выросла, училась.

— А потом попали в нашу дыру. Это что, необходимость или каприз? Впрочем, можете не отвечать.

Он повел ее к столу, возле которого уже стояли парами гости.

— А теперь предлагаю вальс, — услышала она звонкий голос Валерки. — В честь тех, кто не любит другие танцы. Маэстро, поехали!

Он подхватил Женю и повлек ее на середину комнаты под звуки чудесного штраусовского вальса.

— Если ты будешь вот такой же задумчивой и красивой, я брошу к черту всю эту местную знать, и мы с тобой сбежим...

— Может, лучше сбежать мне одной?

— Нет, терпи, еще не настало время.

И Валерка озабоченно глянул на часы.

Потом ее пригласил на танго толстячок Толя, который весь танец толковывал ей, что, защитив кандидатскую диссертацию «для души», мечтает устроиться завмагом «для дела».

— Понимаете, мадам, когда импортная стенка стоит по госцене пять кусков, а спекулянты просят двойную цену, на триста двадцать доцентских минус налоги делать нечего.

— А вам обязательно нужна эта стенка? — просто так, для поддержания разговора, спросила Женя.

— Ну, мадам, я вас не понимаю. — Толя даже остановился от удивления. — Мы же с вами люди современные. Вы что, предлагаете назад, к природе?

В двенадцать елка вдруг вспыхнула разноцветными бегающими огнями, привела в неописуемый восторг уже вполне веселых гостей.

Валерка выключил музыку и свет, и в мерцающей разноцветными вспышками тишине раздался густой баритон Аркадия:

— Господа, наступила самая торжественная минута. Сейчас мы с вами поздравим друг друга с Новым годом, а заодно пожелаем счастья двум симпатичным молодым людям. — Привыкнув к темноте, Женя заметила, что по бокам Аркадия стоят Светлана и Валерка. — Спокойно, спокойно. — Аркадий обхватил его за пояс. — Рано ты расписывался. Господа, я соединяю руки этих двух молодых людей для счастья, а значит, процветания в полном смысле этого слова. Ура!

Кто-то крикнул басом «Многие лета!». «Священника сюда!» —

взвизгнул женский голос. «Дура, это ж помолвка,— загудел тот же бас.— А вот святой образ не помешал бы».

Женя видела, как Валерка вцепился в плечо Светланы. В этот момент погасла елка. Женя слышала возню, приглушенные задыхающиеся голоса, громкое «не пуцу!», а когда вспыхнула люстра, увидела, что Валерка буквально висит на Аркадии и пристально смотрит на нее.

Миша пришел на занятия подавленный. «Наверно, опять дома нелады»,— решила Женя. Пока он грел у печки руки, в класс дважды заглядывала Гранд-Марья, каждый раз осторожно и как бы нехотя прикрывая за собой дверь. Согрев руки, Миша не спеша сел за рояль и вопрошающе глянул на Женю.

— Евгения Александровна... Женя, я так больше не могу.

— В чем дело, Мишель? (В серьезные минуты она почему-то называла его на французский манер).— Опять дома плохо?

— И дома и везде...

— Что значит везде? А твоя пятерка на экзамене? Разве это так уж и плохо?

— Знаете... знаешь, лучше бы они вlepили мне трояк. Тут говорят, что эту пятерку я заслужил... ну, одним словом, не за роялем.

— Кто говорит? Как это?

— Вроде я по бедности плачу тебе не деньгами, а...

Женя не знала, смеяться ей или плакать перед лицом этой пошлейшей глупости. В подобных случаях она чувствовала себя беззащитной, беспомощной, а тут еще хотелось защитить Мишу — в его возрасте грязные сплетни воспринимаются особенно остро.

— Миша, плюй на все. У нас с тобой есть своя цель, и мы будем идти к ней твердой поступью. Верно?

— Скорей бы нам в Москву. Там все по-другому.

— Ошибаешься. Но в Москву тебе все равно надо.

— Тебе туда тоже пора вернуться.

— И что я там буду делать? — запальчиво спросила Женя, точно спорила сама с собой.

— Как ты можешь жить вдали от того, кого любишь? Или ты бессердечная или... гордычка. Я долго об этом думал, читал книги.

— И что ты там вычитал?

— Когда любишь, о себе надо забывать.

— А если не получается?

— Значит, ты не умеешь любить.

— Об этом написано в книгах?

— Нет, я сам так решил. Если любишь, ни о чем другом думать

нельзя. Как за роялем. Это не все могут — даром любить, как и талантом музыканта владеет вовсе не каждый. А мы относимся к нему так небрежно, между делом...

Женя подошла к горячей стенке, тесно прижалась к ней спиной, и ее кожу пронзили острые, горячие буравчики. Но и им не унять дрожь, волной прокатившуюся по телу от Мишиных слов. Прав, тысячу раз прав этот мальчишка, хотя, наверно, еще и не испытал любви. Впрочем, кто знает...

— И что мы будем делать дальше? — прервал ее раздумья Мишин голос. — Знаешь, я бы уже не смог жить без наших уроков, разговоров...

— То, что делали. Собственно говоря, что изменилось?

— И ты не боишься?

— Сплетен? Нет, и тебе не советую. Моя бабушка говорила: «На каждый роток не накинешь платок». Будь выше этого.

— Мне легче, а вот тебе Марья может вырыть глубокую могилу.

— Пускай роет. Мы ее в ней и похороним. И памятник закажем.

Литой.

Миша взглянул на нее благодарно и задорно.

— А я к ее похоронам разучу траурный марш Шопена.

Он сыграл на слух несколько тактов вступления.

— Эх, хорошо ты, Мишка, наяриваешь. Заслушаешься. И веселое можешь и печальное, — сказал неслышно появившийся на пороге класса сторож дядя Федя. — И с чего тебя Лексевна невзлюбила? Велела мне все классы замкнуть на время каникулов и никого в училищу не впускать без ее разрешения. Даже учителей.

— Но ведь у нее нет такого права, — вырвалось у Жени.

— С начальников нравов не требуют. Но вы играйте — севодни Лексевна на именинах у крестной гуляет, сюда не придет больше. А вот с завтрашнего дня...

Дядя Федя беспомощно развел руками.

— Спасибо, дядя Федя. Оставьте ключ — я сама закрою.

— Ты уж не сердчай на меня, Евгения. Должность у меня такая, чтобы слушаться. Да и над тобой она начальница.

— Вот видишь, Миша, а ты хотел, чтобы я вернулась в Москву. Тогда Марье Алексевне при жизни придется ставить памятник — богиня Виктория во славе.

Михаил Андреевич жил в небольшой двухкомнатной квартире на современной окраине, где под окнами унылых блочных пятиэтажек грохотали самосвалы, обдавая грязными брызгами прохожих. В первой комнате стояли впритык два ободранных «Блутнера» («Их во время войны осколками ранило, но внутри, слава богу, целы остались», — пояснил Жене Акулов), стены тесно облепили самодель-

ные стеллажи с книгами. Во второй висели и стояли по углам картины в старинных золоченых рамах, а посередине комнаты возвышалась застланная серым байковым одеялом кровать с высокими никелированными спинками.

— Картины я вам покажу после, а сейчас пошли пить чай. Вы не обидитесь, если мы попьем его в кухне? — спросил Михаил Андреевич и сам же ответил на свой вопрос: — Хотя у вас в Москве это не считается зазорным. Что ж, быт и в самом деле нужно упрощать. У меня, как видите, он упрощен до предела.

Акулов улыбнулся широко и, как показалось Жене, печально.

— Посуды хорошей у меня, к сожалению, не осталось, — говорил он, наливая крепкий чай в дешевые фаянсовые чашки с блеклыми цветочками. — Сервизы пришлось продать, когда болела Лена, ложки тоже одна за другой перекочевали в комиссионку. Но это не главное в жизни, правда ведь, Евгения Александровна? Вы знаете, я так рад, так рад видеть вас.

Он рыскал в старом с треснувшими стеклами буфете и, натолкнувшись на остатки печенья или конфет, громко и довольно кричал.

— Михаил Андреевич, я не жаловаться к вам пришла и не плакаться, но Марья Алексеевна запретила нам с Лукьяновым заниматься в училище в дни каникул. Для Миши это целая трагедия, хоть он и виду не подает — парню просто негде играть. Я уж не говорю о непедагогичности таких методов...

— Кудрявцева все никак не успокоится. А пора бы, — задумчиво произнес Акулов. — Она и мне пыталась в свое время отравить жизнь.

— Так это она накатала ту анонимку?

— Вы и про это знаете? Хотя ничего удивительного — мы же с вами живем в небольшом российском городке. Быть может, именно в том и состоит его очарование, что здесь всё друг про друга знают, интересуются твоей личной жизнью, нередко даже устраивают ее за тебя. Верно?

— По мне, пусть лучше оставят тебя в покое, чем лезть в душу грязными руками.

— Да, у Кудрявцевой они действительно не совсем чистые. Но знаете, ей тоже не позавидуешь: день и ночь ломает себе голову над тем, как бы вам досадить. Пожалеешь беднягу. Ну, хватит об этом. Давайте лучше сыграем с вами ля-мажорную сонату Моцарта. В этом настоящая жизнь, истинное торжество света над тьмой.

Играть с Акуловым было одно удовольствие. Он знал на память обе партии, вел в ансамбле, ни в коем случае не подчиняя своей воле. Когда отзвучал последний аккорд, вскочил со своего стула и изящно склонился над Жениной рукой.

— Вы и Моцарт. Какое прелестное сочетание. Не забывайте об этом ни на минуту.

Уже когда прощались, Акулов крепко сжал ее руки в своих сухих ладонях и сказал, заглядывая в самую глубину глаз:

— Не сдавайтесь. Вы себе не представляете, как вы тут нужны. От вас веет на людей свежим ветром. А Лукьянова присылайте ко мне — как-нибудь поделим с ним рояли.

Она шла по улице, дивясь всему: и короткой оттепели, вдруг дыхнувшей ей в лицо предчувствием весны, и низко нависшим пухлым тучам, грозящим вытряхнуться на землю снегом, и робкому запаху слегка оттаявшей земли, в чьи зимние грезы уже стучалась весенняя капель. И было легко на душе от соприкосновения с Моцартом и с этим лучезарным стариком Акуловым, вопреки всему верящим в торжество добра над злом.

«Милая Татуша!

Все-таки есть на свете бог. У нас в училище целую неделю работала комиссия. В целом, кажется, остались довольны, кроме... Вот тут-то и начинается самое интересное. Оказывается, хуже всех обстоят дела у теоретиков (это, как тебе известно, епархия Гранд-Марьи). У них и подготовка слабая и, о ирония судьбы, рамок учебной программы они не придерживаются, то бишь отстали безнадежно. Комиссия уехала составлять официальный отчет, а Марья забегала по всем инстанциям. Вчера мы столкнулись с ней нос к носу на бульваре, и она пригрозила, что «так это дело не оставит». Из чего я сделала вывод, что она думает, будто комиссию на нее наслала я. Чем все это кончится — не знаю. Быть может, Марью попрут из директоров, но Акулов правильно сказал, что это случится не скоро — здесь ее некем заменить. Уж на мне она постарается отыграться, будь спокойна, стоит только дать ей повод, но пока его у нее нет. Одним словом, силы свои мы нередко растрчиваем на мышиную возню.

... Приближается наш шопеновский концерт, которого я жду с нетерпением и в то же время боюсь. Хочу сыграть с Мишей ларгетто из фа-минорного концерта. Вернее, играть будет он, а я подыграю за оркестр. Миша играет его изумительно, хотя чуть-чуть быстрее, чем мы привыкли. (Помнишь концерт Артура Рубинштейна в Большом зале?!!) Но я не имею права навязывать ему свою интерпретацию. Да это и неинтересно. А в воздухе, Татуша, уже так крепко пахнет весной...»

Особенно сегодня. Из степи вдруг нахлынул влажный, пропитавший талыми водами ветер, нагнал по-весеннему синие тучи, и с обеда полил тугой звонкий дождик. Растопил грязные островки снега, повис прозрачными, весело искрящимися в лучах заходящего солнца каплями с набухших весенней свежестью почек. Недавно прилетевшие с юга скворцы весело гомонили возле скворечников, поблескивая глянцево-черными, точно покрытыми лаком перьями.

Женя сунула ноги в высокие резиновые сапоги, так кстати

подаренные на день рождения бабой Маней, накинула старенький плащ с подстежкой, дорогой воспоминаниями о других весенних днях, когда они с Ильей ездили на электричке в Клин, в дом Чайковского. Теперь плащ едва прикрывает колени. «То ли я выросла с тех пор, то ли он сел от чистки», — думала Женя, шлепая на почту по голубым весенним морям, расхлестнувшимся на всю улицу. А солнце так и било в глаза, ласкало лоб, щеки, волосы. Женя остановилась на углу, зажмурилась от удовольствия, отдаваясь вся без остатка неожиданно заполнившему город настоящему весеннему теплу.

Ее вывел из состояния задумчивости настойчивый автомобильный сигнал. Рубиновый «жигуль» медленно ехал по улице, расплескивая сияющую голубизну весенних вод. За рулем сидел Валерка и, откинув назад голову, сигналил кому-то невидимому. Рядом с ним улыбалась белокурая Светлана.

— Ишь, чертяка, разгорланился, — беззлобно заметил сидящий на скамейке возле забора дед в стеганке и валенках с галошами. — Знаем, знаем, невесту дорогую везешь. Тихо, как молоковоз, чтоб красоту не расплескать. Видишь, девушка, — обратился дед к Жене, — он и твоего внимания просит — так глазюками по тебе и стреляет. Аль ты ему знакомая?

Валерка остановился прямо напротив Жени, обошел вокруг машины, смело бороздя резиновыми сапогами бескрайнюю лужу, достал из багажника канистру и стал не спеша лить в бак горячее.

— Надо ж иде бензин весь вышел, — удивился дед. — А если б вот так на переезде, под носом у поезда? Небось не ходил бы так важно, а забегал бы, чисто худой щенок перед, гм... тем, как на двор сходить. Гляди-кось, через край льет. Эй, тебе бензин, что ли, даром достается?

Валерка даже не удостоил деда взглядом. Он продолжал лить в горлышко бака, придерживая канистру левой рукой, а правую нарочито небрежно засунул в карман своей синей с пестрыми полосками японской куртки.

Женя чувствовала, что он искоса наблюдает за ней, и ей было не по себе и от этого тайком пронизывающего ее взгляда, и от сухого покашливания деда, явно что-то заподозрившего, но она стояла как зачарованная, не в силах двинуться с места.

Наконец канистра опустела. Валерка свирнул ее в багажник, долго и обстоятельно вытирал руки белой тряпкой. Сев в машину, так голох рванул с места, что пыльная, повязанная красным шарфом головка Светланы качнулась, точно мак на стебле. Когда вода в луже устоялась, Женя увидела на ее поверхности изломанные радужные круги и полоски, бросавшие вызов яркостью своих цветов весенней голубизне небес.

— Ишь, подлый, напакостил, — ворчал дед. — Теперича, покудова вся вода не высохнет, будет машинами вонять. Небось целую калистру спустил.

В саду уже начали просыхать дорожки, и баба Маня разложила под всеми кроватями картошку. «Нехай росты пустит, а то нынче, кажись, весна ранняя. Через неделю, может, и посодим, а там протряхнет — и сад отроем. Делов-то, делов...»

Петр Дмитриевич теперь приходил к ужину, а то и позже и, повесив в шкаф пиджак, с фырканием мыл лицо и шею под рукойником с теплой водой, брызгая на чистый крашенный пол.

— Чтой-то ты, как кот, намываешься? Тожить весну почуял? — подозрительно интересовалась баба Маня.

— Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое! — громко кричал Петр, растирая лицо и шею вафельным полотенцем. Потом с грохотом усаживался за стол и спрашивал у Жени: «Ну, как там директорша твоя поживает? Н-да, пышная Маргарита (так он называл всех женщин). Замуж не выскочила? Ты бы ей мужа подыскала, что ли. Она тогда сразу от тебя отцепится».

— Да она после Яшки Фомичева никак не опомнится. Сказывают, у нее вся тела от него черная была. Синяк на синяке, — встревала баба Маня.

— Да, было дело. Но ей только на пользу пошли колотушки. В девках щуплая ходила, как цыплок, а замужем отрастила такие маяки, ни одно судно не промажет.

— Ладно тебе охальничать. — Женя видела, как баба Маня закрывает рот концом своего белого в цветочек платка, пряча улыбку. — Ешь, покуда не остыла картошка.

Сцена утопала в лучах солнца. Кто-то уже поставил на маленький столик у рампы раскидистый букет первых подснежников, обдававших взгляд отчаянной голубиной.

Женя расчесывала перед зеркалом свои короткие, так и не покорившиеся бигудям волосы, когда к ней робко приблизилась ее студентка Тамара Гарибьян.

— Евгения Александровна, я сегодня не смогу участвовать в концерте, потому что... у меня... у меня ничего не получается. Звук плохой, из зала не услышат. И вообще я...

Женя мгновенно оценила ситуацию. Она обняла Тамару за плечи, встряхнула так, что с ее головы слетел голубой вязаный берет.

— Ты замечательно играешь мазурки. Далеко не каждому пианисту дано так точно схватить шопеновское настроение, дыхание. А звук у тебя насыщенный и в то же время прозрачный — настоящий шопеновский звук. Уж поверь мне, бывалому меломану.

— Почему же тогда Марья Алексеевна сказала, чтобы я лучше не позорилась.

— Просто она давно не слышала, как ты играешь. Ты же сделала за последнее время огромные успехи.

— Нет, она слышала меня вчера, на репетиции. Сказала, что у меня плохая педаль.

— И ты из-за этих... необдуманных слов готова подвести своих товарищей?

Тамара снова всхлипнула, но уже тише.

— Снимай жакет и садись за рояль, — велела Женя. — И помни лишь о том, о чем мы говорили на последней репетиции. Ясно?

Зал наполнялся не спеша.

«Если он заполнится хотя бы на две трети, концерт пройдет успешно», — загадала Женя.

Наконец прозвучал последний звонок. Женя стояла около столика с подснежниками, чувствуя возле своих ног живое теплое море обращенных к ней лиц. Собственный голос казался ей слишком звонким, слишком торопливо летели ее слова в сгустившуюся, как ей казалось, напряженную тишину и, подхваченные столбом солнечного света, нехотя замирали где-то под самым потолком.

Она постаралась быть немногословной. Рассказала вкратце о жизненном пути великого поляка, силой обстоятельств оторванного от бесконечно обожаемой родины, о его удивительном многолетнем романе с французской писательницей Жорж Санд, бывшей для него одновременно и добрым ангелом и злым демоном, о дружбе с Эженом Делакруа, Адамом Мицкевичем, Робертом Шуманом...

Публика отчаянно и заинтересованно аплодировала, требуя от каждого выступавшего «бисов». Ребята выскакивали со сцены с пылающими от возбуждения щеками, радостно тискали друг друга в объятьях, благодарно целовали в щеку Женю.

После перерыва зал заполнялся медленно, как бы против своей воли подчиняясь залившимся призывам звонка.

Выйдя на сцену, Женя обратила внимание на несколько зияющих мест в партере. «И все равно зал почти полный», — отметила она, ожидая, пока установится тишина. Ее слепило солнце, и она мысленно поздравляла себя с тем, что выучила текст на память.

— Констанция Гладковская оставила в душе юного Фридерика Шопена глубокий, незабываемый след, — заговорила Женя. — Он любил ее идеальной любовью, вкладывая в это чувство все свое представление о красоте, гармонии, совершенстве. Предвкушением этого несбывшегося счастья проникнут каждый звук его изумительного ларгетто, медленной второй части фа-минорного концерта, где перед нами предстает идеальный образ молодой девушки, чья душа еще не замутнена любовными страданиями...

Повернувшись влево, Женя увидела Валерку, развалившегося в первом ряду. Он смотрел на нее со снисходительной иронией и нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотнику кресла. Но она тут же о нем забыла, погружившись в тонкости взаимоотношений двух молодых людей, рожденных в удивительный романтический век.

— Увы, Констанция, эта обычная земная девушка, не смогла оценить восторженную любовь юного Фридерика, боявшегося осквернить свой идеал обычным прикосновением...

— Они все такие — вздохами их не проймешь, волоки сразу в постель, — раздался в тишине громкий голос Валерки.

На него зашикали со всех сторон, по залу прокатился сдержанный смехок.

— Ты Светку правильно обработал, теперь не повыпендривается, как некоторые, — гукнул с задов веселый бас.

— Теперь тебе в загс накатана дорожка, так под горку и спустят без тормозов! — проверещал с другого конца зала бойкий фальцет.

— Да тише вы, пустомели! — И все голоса вдруг перекрыл пронзительный, по-разбойничьи удалой свист, после чего зал мгновенно притих. — Продолжайте, девушка, нечего на дураков внимание обращать, — громко велел спокойный мужской голос.

Женя кое-как закончила свой рассказ. За кулисами сразу попала в широкие объятия Акулова.

— Ничего, ничего. — Он гладил ее по голове. — Считайте, вы задели их за живое. Вы говорили увлекательно, даже я, старый всезнайка, умилился, представив наполненные слезами голубые глаза панны Констанция (кстати, где это вы вычитали, что они были именно голубыми?), обращенные в туманную даль, в которой скрылась карета с увозящим ее молодость Фридериком. А теперь за рояль. Слышите, вас требует публика?

Еще не отзвучало медленно замирающее в неведомых высотах заключительное арпеджио ларгетто, как из зала снова донесся Валеркин баритон:

— А ты, Мишка, вылитый Шопен, тебе бы только патлы подкудривить. Bravo, Констанция!

Он резво вскочил на сцену и, упав перед Женей на оба колена, звучно поцеловал ей руку.

— Ну, Светка тебя сегодня приголубит. Небось уже кладет под подушку бритву, — крикнули из задних рядов.

По дороге за кулисы Женя случайно обернулась и увидела на уровне рампы ухмыляющееся лицо Гранд-Марьи.

— Ну, Валерка, ну, падлюшонок, ни стыда, ни страму нету. — Баба Маня ловко лушила в фартук тугой кукурузный початок и сыпала зерна в мокрую тряпку на подоконнике, чтобы проросли. — Тьфу, зла на него не хватает. Но ты, Евгения, не болеей душой, все одно концерт интересный был. Ты своих учеников вышколила будь здоров, так у них и бегают пальцы, аж в глазах рябит. А Мишка-то, Мишка — артист вылитый.

Женя уже пережила острый до слез приступ стыда и досады за глупому скомканый концерт, начавшийся столь многообещающе. Теперь Марья раздует целое дело, во всем наверняка обвинит Женю. Но обидней всего то, что от солнечного, сулившего столько истинной радости дня теперь навсегда останется в душе горький осадок.

— А где ж это Петька наш загулял? — спохватилась баба Маня, бросив взгляд на ходики.— Десять без четверти. Постой-ка, постой-ка, кажись, это Алевтина сидела в третьем ряду. Ну да, и кофта вроде бы ее, в синюю копеечку...

«Итак, прошел еще один день, вписав бесславную страницу в историю моей здешней жизни и деятельности,— думала Женя, лежа в душной, без проблеска света темноте.— Нет, что же это я... Как раз сегодняшней день ослабил меня на весь город. От такой славы можно на самом деле забежать на край света или...»

Или уехать. В Москву. Как ей это раньше не пришло в голову? Спрятаться, затеряться в толпе, безликой и безразличной. И пусть торжествует Марья, пусть. Что ей до этого? Она так устала...

Пронзительно скрипнула входная дверь, по полу мягко зашаркали обутые в теплые носки ноги, заскрипели крашеными половицами.

— Где тебя черти носили? — услышала Женя ворчливое приветствие бабы Мани.— Волос на голове давно нету, а ума все не прибавилось. Кажись, обратно с Алевтиной снюхался.

Петр Дмитриевич буркнул что-то неразборчивое и загромыхал рукомойником.

— Она ж тебе, дураку старому, с кем только рогов не понаставляла. И с Васькой Рябям, и с...

— Не ваше дело, мать. Нечего считать чужие грехи, своих хватает.

Петр снова загремел рукомойником.

— Фу, с цепи сорвался, что ли. Чисто кобель огрызаешься. Я ж тебе добра хочу.

— Не нужно мне вашего добра. Для Сашки поберегите. А я уж как-нибудь без него проживу. Вы мне своим добром всю жизнь испортили.

— Это кто ж тебя таким умником на старости лет сделал? Уж не Алевтина ли? Ишь ты, правильно скумекала — не больно в ее года полюбовники на шею виснут. А ты забыл, как по ихней милости топиться на речку бегал? Спасибо Филиппыч, царство ему небесное, переметы тем временем вытягивал.

— Хватит, мать, с тех пор лет пятнадцать прошло, а то и больше, а вы все...

— Помню, об стенку башкой колотился и приговаривал: «Никогда не прощу ей измену. Скорей сдохну, чем прощу».

— Ну, вы, может, замолчите наконец? — повысил голос Петр.— Мало что я от обиды мог нагородить? Я ей за прошлое простил. Эх, кабы мне раньше ума, мы бы с ней еще детей народили...

Он в сердцах пнул ногой пустое угольное ведро.

— От поблуды-то такой? — возмутилась баба Маня.— Слава богу, в нашем роду еще не хватало ублюдков. Страм-то какой...

— Да хватит вам бухтеть, черт побери! — громким тенором рывкнул Петр и с размаху бацнул своей дверью, отчего зашелся в неистовом лае дворовый Дозор.

Длинноногая почтальонша Люся догнала Женю на перекрестке Садовой и Нижне-Глуховской, радостно улыбаясь, протянула пухлый авиаконверт, и, поправив на плече ремень своей тяжелой сумки, на которой широко улыбались белокурые красавицы с переводных картинок, нырнула в подворотню двухэтажного кирпичного дома, увитого до самой крыши бурыми плетями дикого винограда.

«Голубушка моя! — читала Женя Татьянино письмо, трясясь на заднем сиденье старого, насквозь провонявшего бензином автобуса.— Я, наконец, решила написать тебе про нашу новость, к которой, прошу тебя, постарайся отнестись с присущим тебе философским юмором. Итак, наш великий музыкант-романтик Илья сочетался законным браком с... угадай, с кем? Нет, не с Риткой и даже не с Элькой, которая после твоего побега в глубь России упорно навязывала ему руку, сердце, а с Милкой. Представляешь, с Милкой!!! Той самой Милкой, которая часами выстаивала у артистического подъезда с букетиком в потной ладошке, Милкой, которая... Одним словом, ты сама все про нее знаешь. Как выяснилось, оба ее предка работают в торговом бизнесе, свадьбу закатали купеческую: с икрой, ананасами и расфуфыренными золотозубыми родственниками со стороны невесты. Илюшкины деревенские родители выглядели аристократами чистых кровей по сравнению с этими торгашами. Все-таки порода у них удивительная, оттого и в нем такой талантище. Как бы только он не завял в сей оранжерее. Свежая хохма: на последнем Илюшкином концерте Милка стояла у дверей артистической и сортировала баб по возрастному цензу: за полета — милости просим, а те, что помоложе, направо по коридору и вниз по лестнице. Вот как надо! Я и то прошла лишь в тени Милкиной маман (там тень будь здоров, как от статуи Свободы). Андрюшка сказал по этому поводу...»

Автобус трякнуло на ухабе, и строчки запрыгали перед глазами, закружились синим хороводом. Дальше ей незачем читать. Что будет дальше, она знает куда лучше, чем Татьяна, Ритка или Андрей.

Женя сунула письмо в карман куртки, потом, вынув, разорвала на мелкие клочки и выбросила в окно. Обрывки бумаги кружились в солнечном воздухе, как запоздавшие, обреченные на верную гибель снежинки.

Уже с порога она заметила большой белый лист бумаги, глухо прикрепленный кнопками к расписанию. Размахистые, вопиюще красные буквы возведали о том, что «сегодня в три часа состоится экстренный педсовет». И внизу с тремя восклицательными знаками: «Явка всех педагогов обязательна!!!»

В классе было нестерпимо жарко и от натопленной по-зимнему добросовестно печки и от солнца, достающего везде своими длинными безжалостными шупальцами.

«Когда же наконец кончатся занятия? — думала Женя, равнодушно слушая бесконечные пассажи и арпеджио. — Какой длинный бессмысленный день».

Отпустив чуть пораньше последнего студента, Женя вышла в садик и присела на скамейку под огромным кленом. В его могучем стволе уже задвигались соки, разгоняя свой радостный бег до самых кончиков раскидистых ветвей и по пути воспламеняя жизнью нетерпеливые почки.

— Что нос повесила? Может, закурить хочется?

Женя послушно взяла сигарету из рук Христофора, учителя физкультуры, которого студенты и в глаза называли Колумбычем.

— Да ты полегче, не сразу затягивайся, — поучал он жадно набросившуюся на сигарету Женю. — Ну, сразу видно, куряка из тебя никакой, лучше не срались.

Христофор снисходительно похлопал ее по плечу и, приложив ко рту свой неизменный алюминиевый рупор, рывкнул приветствие идущему по дороге почталыону.

Христофор был никудышным физкультурником, зато оказался незаменимым по хозяйственной части. Безропотно вставлял двойные рамы, подкрашивал и замазывал оставленные малярами огрехи, часами копался в небольшом садике. Раньше он работал директором кинотеатра, но после того, как его жена устроила, по словам бабы Мани, «принадродный мордобой ему и его полюбовнице», молоденькой блондинке-кассише, по собственному желанию уволился и отныне испытывал смертельный страх перед «воинствующей половиной человеческого рода», как он называл всех женщин.

— Ты, это самое, не очень-то сердцем в пятки уходи, — заговорил Христофор, повесив свой блестящий рупор на сучок над скамейкой. — Три к носу, и все пройдет. Надо ж, экстренный совет...

Не докончив фразу, он вдруг сорвался с места и кинулся к клумбе, на которой мирно разгребали землю куры. На полпути вернулся за рупором и обрушился с ним на засуетившуюся вдоль забора глупую домашнюю птицу.

Гранд-Марья все рассчитала, созывая свой экстренный педсовет. У Акулова был свободный день. Елизавета Михайловна Коновалова, педагог по вокалу и явная оппозиция директрисы, лежала в больнице с острым приступом радикулита. Войдя в преподавательскую, Женя случайно встретила взглядом с преподавателем по классу скрипки Сергеем Григорьевичем Панкиным, и его близорукие глаза метнулись куда-то вбок.

Марья Алексеевна нарочито долго качала головой, задержав взгляд на Жениных заграничных джинсах, как бы приглашая

остальных разделить ее справедливое осуждение. Когда все расселись вокруг покрытого зеленой бархатной скатертью стола, поднялась со своего места и, поправив на груди брошку, заговорила громко и внушительно:

— Товарищи, мне очень прискорбно сообщать вам о повестке дня нашего экстренного совета, однако я вынуждена сделать это, поскольку речь идет о человеке, самым непосредственным образом участвующем в формировании молодого строителя коммунизма, а именно об одном из наших педагогов — Евгении Александровне Славяновой.

Марья сделала торжественную паузу, во время которой обвела взглядом всех сидящих.

— Вот уж не думал, что Славянова будет удирать от нас в разгар учебного года, — громко сказал Симаков, преподаватель по классу аккордеона. — Так мастерски дело поставила и на тебе, все на произвол...

Марья метнула в него грозный взгляд. Он молчал и лишь временами удивленно покачивал головой, поглядывая искоса на Женю.

— Товарищи, мы на многое смотрели сквозь пальцы, стараясь дать молодому педагогу возможность встать на свои ноги, — продолжала Марья. — Мы закрывали глаза на ее постоянные жалобы в наш адрес, причем в инстанции, как вы знаете, самые высокие что вносило и продолжает вносить нервозность в работу нашего дружного коллектива. Мы делали скидку на то, что Славянова — человек новый, недостаточно опытный в педагогической деятельности. Одним словом, что касается нас, мы терпели. Однако мы с вами, товарищи, не можем терпеть то, что Славянова разлагает студентов. Конечно же, я понимаю, она приехала к нам из столицы, где в среде молодежи еще, к сожалению, бытует распушенность нравов, низкопоклонство перед...

Жене казалось, что разговор идет не о ней, а о ком-то постороннем. Еще она думала о том, что эти взрослые люди, сидящие за столом с серьезным и даже сосредоточенным видом, играют в какую-то нелепую игру. Вот сейчас она им наскучит, и они, встав со своих мест, отправятся по домам, где их ждут по-настоящему серьезные жизненные проблемы.

— Вчерашнее поведение Славяновой, сорвавшей замечательный юбилейный концерт памяти великого Шопена, к которому мы все так долго и старательно готовились, лишний раз подтвердило то, что Славянова не имеет никакого права носить почетное звание советского педагога. В связи с этим я предлагаю обсудить поведение Славяновой на нашем совете и вынести ей соответствующее наказание. Товарищ Баранов, я вижу, вы хотите что-то сказать.

Она ободряюще кивнула немолодому почасовику Баранову, который, как давно догадывалась Женя, страстно мечтал стать полноправным педагогом.

Баранов откашлялся, вытер платочком лоб.

— Славянова — хорошо подготовленный педагог, этого я не отрицаю, но, товарищи дорогие, от ее обращения со студентами меня, старика, в дрожь бросает. Во-первых, она со всеми на «ты», а некоторые из студентов, товарищи дорогие, тоже, простите за выражение, ей тыкают. Конечно, у них, я думаю, гм... есть на то веские причины интимного характера...

— Это вы таким образом хотите получить штатное место? — не выдержал Симаков.

— Я вас не понимаю, Павел Петрович. Я говорю то, что знаю самолично. Товарищи дорогие, да такого позора, как на вчерашнем концерте, я за всю свою жизнь не терпел. Этот брошенный Славяновой... поклонник или как там у них нынче называется...

— А вы, Яков Семенович, разве были вчера на концерте? — поинтересовался Симаков. — А мне кажется, вы в это время гуляли на свадьбе у Кондаковых.

Сощурившись, он пристально посмотрел на Баранова.

— Дак об этом же весь город только и говорит, товарищи дорогие. Как э тот, как его, черт побери, Русланов, что ли, сиганул к ней на сцену и стал при всех целовать и обнимать. А она и рада...

— А завтра весь город будет говорить о том, что вы после свадьбы валялись в канаве возле маслособойки и на вас, простите за выражение, поднимали ногу кобели. Что нам по этому поводу прикажете делать?

— Дак это ж, товарищи дорогие, это ж несправедливость. Это ж...

— Павел Петрович, попрошу вас успокоиться, — велела со своего места Марья Алексеевна. — В настоящий момент мы обсуждаем поведение Славяновой. Я вижу, вы, Христофор Алексеевич, желаете сказать свое слово. Мы вас внимательно слушаем.

Христофор долго вертел на столе свой рупор, от которого на блестящем бархате скатерти оставались блеклые зальсины.

— Смелей, смелей, товарищ Коровин, — торопила Марья Алексеевна, нетерпеливо барабани пальцами по столу. — Мы вас слушаем.

— Я, это самое, только хотел сказать, что все зло идет от воинствующей половины человеческого рода. Они над нами верховодят, попробуй сделай им что-либо поперек. Вот и супруга моя...

— Христофор Алексеевич, вы по теме высказывайтесь, пожалуйста, — перебила его Марья.

— Да, это самое, вот я и говорю, что Славянова тоже нами верховодит, все как полагается. — Он пугливо скосил глаза в сторону Марьи. — И, это самое, бедный Русаков, а он же мой крестник, совсем из-за нее свихнулся. Уж так влюбился, так влюбился. А она, говорит, как монашка себя с ним держит, чего современный мужчина, это самое, уже никак не стерпит.

Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге разом появились мать Миши Лукьянова и бежавший за ней по пятам дядя Федя.

— Ага, вот ты иде.

Лукьянова встала перед Женей, уперла руки в бока своей плюшевой куртки.

— Бесстыжие твои глаза. Расселась тут как ни в чем не бывало. Иде мой сын, тебя спрашиваю?

— Это вы должны знать, где он. Вы его мать,— как можно спокойней постаралась ответить Женя.

— Да? Думаешь, я не знаю, что он с тобой таскается? Вчерась только я про тебя рот раскрыла, набросился с кулаками, чуть душу не вышиб. Дверью бацнул — и нету. Иде он, отвечай?

Женя встала. Она чувствовала, как комната наполняется звенящей тишиной. Все застыли на своих местах, повернув к Жене удивленные взгляды.

Дядя Федя, шаркая тяжелыми подошвами валенок, подошел к Лукьяновой вплотную и тронул ее за плечо.

— Твой Мишка у меня севодни ночевал. Сказал, житья ему дома нету от ваших гулянок и скандалов. Мы с ним утром почаяевичали, после чего он куда-то по делам пошел. Так что умерь свой норов. А ты, Евгения, ее не слушай. Дурная баба она и есть дурная. Что с нее взять?

— Нет уж, позвольте, Федор Михайлович,— вмешалась Марья Алексеевна.— Я попрошу вас как человека постороннего выйти из преподавательской. А вы..., Лидия Кузьминична, вроде бы хотели нам что-то сказать? Мы вас внимательно слушаем.

— Да ничего я не хотела...— Лукьянова вдруг сморщилась, всхлипнула носом.— Сыночек мой дорогой, Мишенька, ну, привеси́ла тебе сдуру, дак ведь я же мать...

Женя отошла к окну и оперлась о подоконник. Нет, она больше не в силах терпеть этот дурно поставленный водевиль. Пускай несут что хотят, слушают любых свидетелей обвинения, ей теперь на все наплевать.

Она сняла с вешалки свою куртку и, сопровождаемая удивленными взглядами, вышла в коридор. Уже у лестницы услышала пронзительный визг Марьи: «Славянова, вернитесь сию минуту, иначе я вас увольняю! Вы слышите?!!»

Женя шла солнечной улицей вдоль аллеи молодых кленов, впечатавших свои ветки в густую голубизну небес, петляла кривыми переулками, брела наугад и всей душой упивалась вдруг свалившейся на нее свободой. Всем миром завладела весна, весна — это сейчас главное. А все остальное ерунда. И ноги сами несли ее по горячей, разомлевшей земле, несли навстречу солнцу, весне, свободе...

«Милка взяла его измором,— думала Женя, медленно бредя весенним полем.— За пять лет не пропустила, должно быть, ни единого концерта, а летом даже приезжала специально с дачи, таща целые охапки темно-красных гладиолусов.

Илья сперва смеялся над этой девчонкой, ничего не понимающей в музыке. «Она, наверное, спутала меня с Магомаевым, — шутил он, кивая на перевязанные неизменной розовой ленточкой букеты. — Слушайте, ребята, устройте мне встречу с этой замоскворецкой Ундиной. Серьезно». Вот и устроили. Серьезно.

Женя обернулась. Этот большой лохматый пес, увязавший за ней еще у водокачки, послушно шагает следом, преданно помахивая пушистым веером хвоста. Стоит ей остановиться, и он садится на землю и пристально смотрит на нее из-под своих черно-бурых лохм. Наверно, ему тоже вдруг захотелось весенней свободы, отчего прежняя жизнь стала неважною.

А солнце все ниже и ниже клонится к земле, опьяненное ее взмывшими до небес ароматами фиалковой свежести и горьковатого парного тепла. Раскинувшийся на холме город возвышается над степью огромным окутанным сизой дымкой островом, поблескивает куполами старого собора, точно магнит притягивающими к себе солнечные лучи. Но ей лучше не оглядываться, а идти все вперед и вперед, туда, где горизонт уже пышет закатным багрянцем, чтобы хоть на несколько мгновений продлить этот и без того удивительно длинный день, резко разделивший ее жизнь на прошлое и то, что у нее осталось теперь.

Вон впереди какой-то ветхий домик под зацветающим абрикосом, а вокруг него незарытая виноградная лоза.

Наверно, это тот самый старый колхозный сад, о котором ей рассказывал Миша.

Вокруг ни души. Осевшая в песок дверь приперта снаружи палкой, чтобы не повадно было гулять ветру, возле давно не беленной печки, занимающей целую стену, большая охапка сухих веток.

В такой избушке хорошо жить вдвоем. Над головой мерцают безбрежные разливы созвездий, окутанные потусторонней дымкой Млечного Пути. И пусть о любви этих двоих знает лишь степной ветер, умеющий беречь чужие тайны. Ей вдруг пришли в голову слова из какой-то прочитанной еще в детстве книжки: «Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные мелочи и невзгоды не должны ее касаться». Она запомнила их тогда просто так, теперь же, всплыв в памяти через много лет, они обросли тем самым единственным смыслом, о котором знал обронивший их писатель. Женя горько усмехнулась. Почему, почему ей не попалося вот такая избушка в самом центре Вселенной год, два, три года назад? Здесь, наедине с ночным небом, вдруг ясно видится главное, а те самые мелочи прячутся по темным, не освещенным красноватым печным пламенем углам и таращатся оттуда безнадежно-умоляющими глазами.

Она сидела на чурбаке возле самого огня и то и дело подкладывала в топку трескучие вишневые ветки и сырую, оплывающую едким

дымом кору. На притолоке стоит помятый темно-синий чайник, в колодце под согнувшейся от дряхлости вербой удивительно чистая и вкусная вода. И пахнет она речным илом и какой-то пряной степной травой.

А пес лег у двери, подальше от тепла, и, положив голову на лапы, смотрит на нее своими преданными собачьими глазами. Как Милка на Илью.

...Их невольно познакомил один фотограф, запечатлев на свою пленку тот момент, когда Милка дарила Илье букет ландышей, а он нечаянно рассыпал их прямо ей на голову. Фотография осыпанной цветами Милки на фоне раскрытого рояля появилась через две недели в какой-то газете с подписью: «Музыка, цветы и фантазия». Как-то после их классного вечера Илья озорства ради затащил Милку к себе в Скатертный переулок, где в то время снимал большую комнату с концертным «Бехштейном». Татьяна с Андреем принесли пластинку Марио Ланца, и они танцевали при свете двух толстых свечей под мелодичные песни из полузабытых американских кинофильмов, превращенные этим удивительным итальянцем в страстную поэму любви. Илья не отпущал Женю от себя, даже когда замолкала музыка. Они стояли в мерцающем полумраке, схваченном в кольцо гигантских настенных теней, тесно прижавшись друг к другу, и Илья ласкал своим горячим дыханием ее открытую шею. «Как будто я вижу тебя в первый раз,— шепнул он ей на ухо.— Останься такой навсегда». И они кружились в плавном, проникнутом мечтой о счастье вальсе, и Женя все пыталась взглянуть другими глазами на этого высокого, подстриженного по-русски в кружок мальчишку, с которым два года пручилась ее в неведомые дали, а Земля, эта бурлящая человеческими радостями и печальми планета, навсегда остается где-то позади, вспыхивает неоновыми столичными реклам, шумит кленовыми ветками тихих провинциальных городов, синее весенними небесами степных просторов.

В печке догорал последний вишневый сучок, освещая дрожащим красноватым светом маленькую сторожку с окном прямо в звездное небо. Жене на мгновение показалось, будто она летит в космическом корабле, уносящем ее в неведомые дали, а Земля, эта бурлящая человеческими радостями и печальми планета, навсегда остается где-то позади, вспыхивает неоновыми столичными реклам, шумит кленовыми ветками тихих провинциальных городов, синее весенними небесами степных просторов.

Сзади сторожки, кажется, лежит целый ворох сухих веток, его наверняка хватит до рассвета. Женя осторожно перешагнула через тихонько поскуливающего во сне пса и оказалась во власти пронизанной звездным светом звенящей мартовской тьмы. Впервые в жизни она ощутила всем своим существом движение Земли, неумолимо рассекающей холодную космическую пустоту. Набрал

охапку сучьев, постояла у порога, дивясь и невольно радуясь прочности окружающего ее мироздания.

...Татьяна с Андреем незаметно исчезли, уведя с собой надувшуюся Милку, а Илья, вернувшись из прихожей, молча сел в противоположный угол дивана.

— Знаешь, я тебя боюсь, — вдруг сказал он, глядя куда-то в сторону. — Со мной это впервые в жизни.

Она улыбнулась ему, тогда еще не умея постичь смысл его слов.

— Ты смеешься, а мне грустно оттого, что любовь в наше время стала такой прозаической вещью. Я боюсь запятнать тебя своим прикосновением, боюсь превратить в обыкновенную.

Они долго молчали, и она от неожиданно охватившей ее неловкости попросила у Ильи сигарету. Он прикурил и осторожно вставил дрожащий желтый кончик в ее раскрытые губы.

— Я..., ты знаешь, у меня были другие, но как-то между делом, просто потому, что они меня хотели. А вот ты живешь в каком-то особенном мире...

Она наклонила и скользнула губами по его мальчишеской гладкой, пылающей сухим жаром щеке. От его кожи пахло то ли ладаном, то ли богородской травой, и она задержала свои губы, с удовольствием вдыхая этот полузабытый запах детства...

Пес заворочался, застонал во сне, вскочил на ноги и, подойдя к Жене, положил ей голову на колени. Она погрузила пальцы в его жесткую свалывшуюся шерсть, ласково потрепала обвисшие лопухами уши. Довольный, он улегся у ее ног, мерно засопел носом.

— Как я раньше не догадался, какая ты удивительная, — твердил Илья. — Мы с тобой потеряли столько времени.

— У нас впереди его еще больше, — тихо отвечала она.

— Ты думаешь?

Утром, сажая ее в такси, вдруг сказал:

— А, знаешь, может, если бы не эта Милка с ее телячьей любовью, я бы так и оставил тебя в вечных друзьях. Она во мне что-то такое подняла со дна... Только, дурочка, не для себя старалась. Ну, до вечера, моя любимая.

Моя любимая... Сейчас на эти его слова она бы откликнулась каждой клеткой своего существа. Моя любимая... И кружится в окне сторожки звездная карусель, схваченная вихрем когда-то принадлежавшего им обоим времени, от которого ей остались вечные воспоминания. Ей бы жить с этими его словами в сердце, ей бы помнить их даже во сне, нести в себе как главный смысл жизни.

И надо было не обращать внимания, надо было просто забыть ту глупую измену, в которой он сам же ей покаялся, а она...

Моя любимая... А остальное все мелочи, сор. Моя любимая... Он уже не осмелился сказать ей эти слова, когда они виделись в последний раз.

Пес поднял свою лохматую голову, прислушиваясь к лишь усилившейся от внезапно поднявшегося ветра степной тишине, зарычал, уловив в ней чуждые звуки. Машина, что ли? Но ведь шоссе поблизости нет, а когда-то проложенная в саду колея давно заросла бурьяном, ошестинившимся своими бурыми колючими будыльями, точно мертвый лес, стерегущий царство Кощея Бессмертного. Все-таки машина. Будничный звук ее мотора неумолимо наполняет студеной утренний воздух, вытесняя из него последние призраки ночи. Пес уже яростно лает на дверь, скребет ее своими нетерпеливыми лапами.

— Сила небесная, да нашу царевну в ее терему стерегут серые волки. А ну-ка, распахнитесь двери дубовые в палаты белокаменные...

И Валерка, легонько надавив плечом ветхую дверь, уже улыбался ей с порога.

— Молодец, Пират, сберег нашу девицу от сглаза. Недаром я тебя прошлой весной от живодеров спас. Отблагодарил благодетеля.

Валерка сел на сколоченную из грубых досок лежанку, а пес улегся у его ног, время от времени довольно помахивая хвостом.

— Видишь, снова скрестились наши дорожки. Ты, наверное, меня не ждала?

Женя молчала, глядя в давно погасшую топку печи, усталую пепельным серебром, и думала о том, что Валерка, быть может, явился кстади. Она не представляла свое одинокое возвращение по степи, с каждым шагом отдаляющее ее от этой вросшей в землю сторожки, в окно которой бьются лепестки абрикосового цвета.

Она покачала головой.

— На большее я и не рассчитывал. Хорошо, еще не топашешь ногами и не гонишь прочь. Я и к такому приему приготовился. А ты больно тонкошкурая оказалась: стоило Гранд-Марье собрать свой хлев, как ты отправилась на поиски земли обетованной. Нашла хоть ее?

Женя усмехнулась точности Валеркиного определения.

— А меня ночью Мишка твой с постели поднял. Ввалился не запылится и давай за грудки трясти. Как будто это я тебя от него спрятал.

Женя повернулась и посмотрела на Валерку пристально и благодарно. Она заметила, как он осунулся, оброс дремучей щетиной. «Почернел» — сказала бы баба Маня. Наверно, и она за эту ночь вовсе не похорошела.

— Спасибо, что ты меня нашел.

— Серьезно? — Его глаза блеснули радостно и озорно, как когда-то, в самом начале их знакомства. — Сила небесная, вот уж не думал, что в этом курятнике на краю степи меня ждет нечаянная радость... Ты уедешь в Москву? — неожиданно спросил он.

Женя не сразу нашлась, что ему ответить. Она на самом деле не знала, что с ней будет через час, день, неделю. Скорей всего ничего особенного.

— Нет...

— Знаешь что... — Валерка встал, замаячил над ней своей длинной растрепанной фигурой. — Поехали домой. Надо же, двадцать верст отмахала и хоть бы что. Ну, и сильна ж ты, а с виду... Ну, по коням.

Пес проводил их до самой машины, но ни в какую не поддался на уговоры сесть в нее. Даже оскалил свои желтоватые клыки, когда Валерка попробовал подсадить его на заднее сиденье.

— Он как древний мудрец — решил остаток жизни провести на природе и в полной независимости от мирской суеты, — сказал Валерка, лихо преодолевая глубокие колдобины.

Женя молча прошла и села на сундук под ходики. Спать, так хочется спать.

— Вот, доставил вашу девицу живой и невредимой, только голодной, как степной шакал, — бубнил Валерка. — Давай, баба Маня, корми нас обоих, а то мне на службу пора. Эх, тяжкий мой воз, да как бы упряжка не перетерлась. Сила небесная, а Петро еще дрыхнет?

Баба Маня остановилась на полпути к печке.

— Ступай у Алевтины спроси. Небось, сладко ему спится под ее гладким боком.

— И он, что ли, дома не ночевал? — Валерка присвистнул. — Ну, баба Маня, скажу я тебе, распустила ты их, распустила. Никакого порядка в доме нету. Ладно, давай на стол.

— Ишь, в зятя, что ли, записался? — беззлобно ворчала баба Маня, нарезаая толстыми ломтями розовое домашнее сало. — А барышня-то твоя, кажись, заснула. — Она кивнула головой на свернувшуюся калачиком на сундуке Женю. — Ишь укатал как.

— Да кабы я... — Валерка вздохнул. — Ну, а Петро насовсем, что ли, умотал?

— Это ты с него и спрашивай. Вчерась в обед заявился со школы и как был в сапожищах к себе прошел. Весь пол наследил. Гляжу, в шкафе роется. «Мать, а иде у нас чемодан, с которым я на курорты ездил?» А я ему: «Опомнился когда. Дак то ж при царе Горохе было. Изгнал давно. Который год в нем квочка цыплят выводит». Он тогда корзинку новую цапнул, лук прямо на пол высыпал и давай в нее свои манатки швырять. Чисто помешанный. После, слухаю, коту зовет. Да тот, видно, подвох учуял, в подпол забился и оттуда дурным голосом мяукает. Петро грозился за ним севодни прийти. Это та стерва его подучила. Выкусят они у меня. Во!

Баба Маня скрутила большой шиш и ткнула им в сторону двери.

— Ну и дела, — покачал головой Валерка, уплетая сало. — А что, молодец Петро, не ожидал. Я вот тоже рубану — так сразу и отлетит все в историю. Для потомков. Налила б ты мне, баба Маня, борщца холодного да с чесночком.

— Тебе ж, шпанец, на работу. Ну, как дыхнешь на будущего тестя?

— Ничего, баба Маня, не завянет. Он у меня еще долго походит в будущих. До самого светопреставления. Ну, чего стоишь, давай лей да пополей тарелку. Человек не каждый день новую жизнь начинает.

— Значит, Петро, говоришь, сменил место жительства,— заговорил Валерка, когда из подпола показала закутанная в платок голова бабы Мани.— Ты теперь одна в такой домине осталась. Внуков от Сашки из-за Райки знать не хочешь, а с Алевтиной в старых контрах состоишь. Пусто тебе на старости лет будет.

Баба Маня молча достала из буфета глубокую тарелку с розочкой на боку, наполнила до краев густым жирным борщом.

— Ну? Дай-то бог, чтобы новая жизнь оказалась хотя бы не хуже старой.— Он жадно накинулся на борщ.— Я бы на твоём месте открыл торговый дом «Ибрагим и компания», все добро распродал, а потом двинул бы налегке в Лавру грехи замаливать. Только денешки сначала на книжку пристрой,— рассуждал Валерка, похрустывая соленым огурцом.— Эх, баба Маня, завидую я тебе: ветер вольный свистит в ухах, вороны над головой каркают. Хотя мир поглядишь вместо клуба кинопутешествий. Если хочешь, давай вместе туда подадимся. У тебя и дом какой-то темный стал, и тишина как на кладбище.

— Хватит тебе, пустобрех, языком ляскать,— неожиданно осерчала баба Маня.— Приложился, небось, с утра и изуитничаешь над старухой.— Она вдруг всхлинула в кончик платка.— Легко ль одной в такие года? Все ж для них, гадов, спину гнула, по базарам пудовые корзинки с ранней вишней таскала, пиенами каждый год у городского сада торговала, чтоб им кому пальто, кому костюм справить. Пианину у Яшки Комара взяла, когда у Александра слух в пионерском доме нашли. А они еще этим же самым и бьют по глазам. Петька вчера, значит, и заявляет с порога: «Вы, мать, как куркуль старорежимный, все в дом да в дом тянете».— Баба Маня снова всхлинула, но тут же совладала с собой.— Ну, ну, поживешь в казенной квартире, не то запоешь. Не больно на свою школьную зарплату пожируешь. А той пустодомке и вовсе с гулькин нос плотят в ихнем собесе. Тебе еще борщеца налить?

— Нет, баба Маня, хватит.— Валерка глянул на ходики и встал из-за стола.— Новую жизнь нужно начинать налегке.— Он задержал взгляд на спящей Жене, медленно застегивая свою шуршащую куртку.— Если б не она с ее наивными представлениями о жизни, гнить мне до гробовой доски в плену у импортных стенок под звон хрустальных фужеров. И вот так бы, небось, и не усек своей седой башкой, что есть на свете воля. Вон и Петька твой, гляди, скумекал. А, да что рассуждать. Одним словом, привет семье.

Он тихонько прикрыл за собой входную дверь.

— Рожна тебе не хватает,— ворчала баба Маня, убирая со стола.— Бесись на бабкины деньги, покедова жареный петух в задницу не клюнул. Жизню новую они начать порешили. Ишь ты, ушлые какие выискались.

Женя бежала по мокрым, словно залитым маслом улицам, а сзади ее нагоняла Татьяна с огромным белым конвертом в протянутой руке. «Письмо! Возьми свое письмо!»,— кричала она, и эхо ее звонкого голоса еще долго блуждало в темных подворотнях старых особняков. А Валерка хохотал, откинув голову, и все никак не мог задержать тяжелый бархатный занавес. И снова Женя неслась нескончаемыми улицами, проваливалась в темные люки, карабкалась по отвесным лестницам. Потом, обессиленная, лежала плашмя на голой земле, которая быстро неслась по своей головокружительной орбите, а над ней склонился Илья и шептал громким горячим шепотом: «Любимая, любимая, любимая...»

Она с трудом разлепила глаза, спустила с сундука затекшие ноги. Ходики над головой, точно продолжая ее бесвязный сон, отбивали решительно и безжалостно: «пись-мо, пись-мо». Письмо... А, может, оно ей на самом деле приснилось? Женя пошарила в карманах куртки. Нет ничего. И вдруг вспомнила с болезненной отчетливостью белые клочки, нехотя оседающие на мостовую, почувствовала под пальцами упругое сопротивление сложенных в несколько раз листов. «Пись-мо, пись-мо»,— равнодушно отсчитывали время ходики. Женя зажала ладонями уши и выбежала на крыльцо.

Солнце уже свершило по небу свой дообеденный путь, напитав землю чудодейственным теплом. Баба Маня в одной сиреневой вязанке вскапывала вилами рыхлую навозную землю возле старой яблони.

— Ну, как, все сны досмотрела? — спросила она у подошедшей к ней Жене.— Небось, от голода проснулась. Там, в коробе, борщ и кабашная каша.

— Я не хочу есть. Давайте помогю.

Женя взяла прислоненные к стволу груши вилы, неумело воткнула в землю. Оказывается, это вовсе не так легко, как кажется со стороны. Черенок вихляется во все стороны, жирные влажные комья точно налиты свинцом.

И все-таки в этой нелегкой физической работе есть свое утешение — оно и в дышащей свежей сыростью коричневой земле в которую с удовольствием ложатся картофелины с толстыми бледно-розовыми ростками, и в жарко припекающем солнце, которое мгновенно подсушивает борозду, и в соленом привкусе свежего пота на губах. Вот так изо дня в день копали, не разгибая спину, ее не слишком далекие предки. Бабушка рассказывала, что в страдную пору они всей семьей от мала до велика жили в поле. А нынешние люди в большинстве своем утратили эту прямую связь с землей. Утратили безвозвратно, нисколько не скорбя об этой утрате. Или же современный человек не должен скорбеть ни о каких утратах?..

— Ты передохни, а я на стол соберу — время уже четверть второго. Господи, я еще курам сегодня не давала, — сокрушалась баба Маня.

Женя упрямо втыкала вилы в податливую землю, полоска за полоской подвигаясь к дощатому забору, обсаженному ключичим крыжовником. Сейчас для нее главный смысл жизни — вскопать эту делянку под картошку, потом она придумает себе другое дело. В конце концов что такое жизнь, как не вечное желание заполнить каким-то смыслом настоящее? Только не надо думать о прошлом.

Она разогнула приятно ноющую спину и вытерла пот рукавом своего пестрого свитера, который мать привезла ей из Парижа. Его крикливо-желтые полоски показались ей блеклыми в ярких лучах весеннего солнца. «Вещи, деньги — какая же это, в сущности, ерунда, — думала она. — Человек и в этом пытается найти смысл жизни, спастись от внутренней пустоты. Кое-кто даже свое искусство умудряется высчитать в деньгах, при этом утешаясь мыслью, что и Моцарт работал ради них. И все-таки самое ценное достается другим путем».

Женя впервые за все это время подумала о том, что не просто потеряла Илью для себя, а он ушел от нее в совсем иной мир, трезвый, слишком материальный. Что это? Отказ от борьбы? Поиски покоя? Но ведь покой — это еще не счастье. Тогда что же такое счастье?

Она села на врытую в землю скамейку под старой грушей. Бездонно-голубая высь звенела радостными птичьими вскриками, мелькала бликами солнца сквозь корявые раскидистые ветки груши. Нет, сейчас она не в силах ответить на этот вопрос. Счастье было у нее еще вчера, до письма. Могло быть и сейчас, если бы...

— Гляди, кабы сквозняком не прохватило, — предупредила вышедшая на крыльцо баба Маня. — Обедать ступай, а я прилягу покамест. В грудях что-то нехорошо.

Женя послушно поднялась со скамейки, вымыла лицо и руки под прибитым к дощатым перилам крыльца рукомойником, ощутив на губах гниловатый привкус застоявшейся воды. Теперь и ей пора найти покой. Может, он в Валеркиной любви? Что лучше: любить самой или быть любимой? Моя любимая, моя любимая...

К вечеру бабе Мане сделалось совсем худо. Она лежала на своей широкой кровати с высокими деревянными спинками, прижав к груди обе руки, и дышала со зловещим присвистом.

Врач «Скорой помощи», обстоятельный старик с красными от тщательного мытья руками, хотел забрать ее в больницу, но она решительно отказалась.

— Куды ж я от хозяйства-то, сам посуди, доктор. И виноград еще не подвязан, и картошку садить не кончили.

— Ну, как знаешь, бабка. Ноги протянешь, не ругай медицину. А ты, внучка, — обратился он к Жене, — приглядывай, чтоб она не вставала, и уж разок пропусти танцуйки. Плохо станет — звони от Меркулова. Угловой дом против почты. Ну, бабка, не дури.

Подхватив свой чемоданчик, он резво выскочил за дверь.

— Как тут не встать? — кричала баба Маня, прижимая пальцами руку повыше локтя, куда фельдшер вкатил укол. — Поросянок не кормлен, куры, ежели им не дать на ночь, разбредутся по чужим дворам, да и картошка, которая на еду, не перебрана — так и гонит в рост. Сбегай, что ли, Сашке перекажи, чтоб зашел... — Баба Маня вздохнула. — Да нет, не надо. Райка после будет всем хвалиться, что они за большой матерью ходят.

— Вы скажите, где что лежит, я все сделаю, — вызвалась Женя.

— Еще тебе домашних делов не хватало.

— Сейчас, может, мне как раз их и не хватает.

— Ладно, похозяйствуй, раз просишь. Отруби для поросенка в сундуке. А курам зерно возьми в цибарке за печкой.

Женя до самого темна бегала по хозяйству, потом еще спустилась в подвал, перебрала картошку, смыла соленья. С непривычки работа не спорилась: пшеницу просыпала, не донеся до курятника, и на нее тут же набросились невесть откуда взявшиеся вороны. Голодный поросенок тыкался грязным пяточком в ведро и, когда она поставила его на землю, чтобы перевернуть пустое корыто, влез в него передними копытами и разлил теплые отруби в грязь.

«Видел бы меня сейчас Илья, — думала Женя, обламывая в полумраке холодного подвала толстые ростки картошки. — Неужели он мог забыть, как мы танцевали под песни Марио Ланца?»

И снова она слышала нежное, точно выдохнутое из самой глубины сердца: «Моя любимая... любимая...» И светлей становилось в темном подвале, сильнее колыхалось пламя оплывшего огарка, точно встревоженное гулками ударами ее не умеющего смириться с потерей сердца.

Вечером баба Маня, несмотря на протесты Жени, встала, расшуровала печку, вскипятила чайник. Их чаепитие проходило в полной тишине, даже не нарушаемой уже обычно включенным в это время телевизором. Баба Маня несколько раз поднимала голову, прислушиваясь к шуму ветра, который деловито хозяйничал в саду и вокруг дома.

— Слухай, кто-то, кажись, стучает в дверь, — говорила она. И Женя, прислушавшись, улавливала лишь скрип разошедшихся ставен и удары сиреневого куста о деревянный угол дома.

К ночи старухе снова стало худо. Женя хотела вызвать «Скорую», но та схватила ее за руку и зашептала:

— Нет, не бросай меня одну. Я так скорей помру. Уже отлегло, отлегло... Ты только не уезжай в свою Москву. Попривыкла я к тебе, чисто к родной. У Петьки моего уже дочка была бы почти с тебя, ежели б Алевтина по глупости аборт не сделала. Оно, может, Петька и правильно простил эту дуру — все ж таки столько годов вместе прожили. Мой Митрий тоже за подолами волочился, и я ж его,

покойника, сколочко раз прощала... А ты севодни уж больно с лица осунулась,— вдруг сказала баба Маня, обращаясь к Жене.— Ничего, девка, по молодости и мне пришлось страдать по суженому. А теперича думаю, не ужились бы мы с ним. Нет, не ужились. Больно взгальный был. Расходится, бывалоча, из-за пустяка. Митрий — тот поспокойней, потише. В замужестве оно ведь важно не так любовь, как сходство по душам. Вот и ты, я вижу, натурная. Оно вроде и хорошо с характером быть, только таким, как мы с тобой, туго живется. Ну, ну, не серчай, не буду.

Акулов нашел ее в конце двора, незаметно подошел сзади и долго наблюдал, с каким старанием она вскапывает землю, кладет в лунку проросшие кукурузные зерна и аккуратно загребаёт лопатой.

— Вы меня извините, Евгения Александровна, что я вас отрываю от работы, но у меня к вам серьезный разговор.

Она обернулась, нисколько не напуганная его внезапным появлением, вытерла тыльной стороной ладони вспотевший лоб.

— Давайте присядем на лавку. Для обстоятельности,— предложил он и бодро зашагал к врытой в землю скамейке под грушей, где в этот ранний утренний час всю хозяйничало солнце.

Акулов взял ее руку в свою, перевернул кверху набрякшими кроваво-сизыми мозолями.

— Вот ведь вы оказались какая, Женечка,— сказал он, осторожно трогая ее мозоли.— Больно?

Она покачала головой и, чтобы скрыть вдруг нахлынувший прилив слез, отвернулась, устремив взгляд в зыбкую размытую даль.

— Я должен был прийти к вам еще вчера,— заговорил Акулов, глядя перед собой,— но все почему-то ждал, что вы сами ко мне придете. Не за утешением, разумеется. Вам ведь не нужны утешения, правда?

Она не ответила, еще дальше отворачивая от него свои мокрые глаза. Все-таки ей нужны утешения, нужны. Нужно, чтобы кто-то, понастоящему умный и сильный, сказал, что жизнь еще не кончена, что впереди ее ждут радости.

— Вы, наверно, помните, что в сказках, старых и новых, добро всегда торжествует над злом. Об этом знают даже маленькие дети. Ксгати, они знают и о том, что герой, отстаивающий добро и справедливость, должен быть умным, сильным, ловким. Иначе не выйти ему победителем в жестокой схватке со злом. К сожалению, и в наше время зло, несправедливость и прочие пережитки еще не стали музейными экспонатами, так что иной раз нам приходится с ними сражаться. Вы согласны со мной?

Она кивнула, молча утирая слезы.

— Мне было лет немного поменьше, чем вам, когда я, ожидая в Новороссийске пароход, которому было суждено надолго разлучить меня с родиной, напрасно пытался решить для себя проблему: должен

ли я вступать в борьбу со злом, в ту пору буквально раздиравшим на части голодную и холодную Россию, или отсидеться в сытом и спокойном углу, взирая на все из равнодушного далека. Я думал: пусть те, кто затеял эту заваруху, сами и наведут порядок. Я же музыкант и должен во что бы то ни стало следовать своему призванию. А какой-то тайный страстный голос нашептал мне: «Ты прежде всего российский сын, Михаил, твоя родная земля стонет и обливается кровавыми слезами. Защити ее, отбей врага». И я уже решил было, как развиднеется, пробраться в свою родную станицу, разграбленную корниловцами, и с винтовкой в руках ринуться на врага. Но тут подошел английский пароход, все как одержимые устремились на причал, и я смешался с этой безликой толпой несчастных, обманутых людей, не в силах противостоять ее воле. Я до сих пор расплачиваюсь за свое малодушие, и нет и не будет мне за него прощения. Конечно, мою вину с вашей не сравнишь, но ведь сейчас и время другое.

— В чем же моя вина, Михаил Андреевич? — спросила Женя, не поворачивая головы.

— В том, что вы позволили Кудрявцевой безнаказанно вершить зло. В том, что смирились с его победой. В результате пострадали прежде всего ваши студенты, и не только потому, что лишились хорошего педагога. В конце концов учебную программу можно всегда наверстать, но вот тот моральный урон, который вы нанесли им своим бегством, пожалуй, уже и не наверстаешь.

— Что же я, по-вашему, должна была делать? Вернее, как? Просить у Кудрявцевой прощения? Оправдываться?

— Евгения Александровна, голубушка, я просто удивляюсь вашей... наивности. Другого слова, ей-богу, в данном случае и не подберешь. — Акулов всем корпусом подался к ней, положил руку ей на плечо. — Неужели вы забыли, где мы с вами живем? Да поймите вы одну вещь: пассивное добро — это то же зло, только наизнанку. Вы скажете, старик уже впал в маразм, твердит банальные вещи. Да, вы правы. Истина всегда проста и банальна.

Акулов встал со скамейки и заходил взад-вперед между деревьями, сердито вороша своей палкой прошлогодние листья.

— Беда вашего поколения в том, что родители с детства оберегают вас от всяческих несправедливостей и вы в итоге начинаете верить, будто их в нашем мире уже не существует. Потом же, столкнувшись с ними в своей самостоятельной жизни, не знаете, как поступить, и предпочитаете уйти, переждать бурю, найти обманчивый покой. А вот ваш студент Лукьянов оказался стойким молодым человеком. Мы с ним уже успели кое-что предпринять, пока вы тут предавались поискам призрачного покоя и жестокому самоанализу.

Акулов остановился под раскидистой яблоней, точно сбрызнутой темно-розовой пеной лопающихся от весеннего нетерпения бутонов, потом подошел к Жене, наклонил к ней свое умное, обрамленное красивыми седыми волосами лицо.

— Ей-богу, Евгения Александровна, мне как-то неловко говорить вам все это. Вы ведь человек, одаренный не только талантом музыканта, но и еще куда более ценным даром притягивать к себе людей. Вы посмотрите, сколько вы вывели из равновесия, вытолкнули из привычного состояния покоя. Только в одном нашем городе. Люди потянулись к вам, доверились вашему человеческому обаянию, и на тебе, как вы их в себе разочаровали. Горько разочаровали.

Жена встала, больше не в силах сдерживать слезы, и, прислонившись к шершавому стволу груши, уткнулась в пахнувший табаком платок Акулова и громко по-детски всхлинула.

«Милая Татуша!

Ты, конечно же, догадываешься о причине моего молчания, тебе не нужно объяснять, как долго я приходила в себя после твоего последнего письма. До сих пор сердце уходит в пятки, как завижу нашего почталона, хотя, казалось бы, страшной известия мне уже не получить. Помнишь старую русскую пословицу о том, что беда в одиночку не ходит? Так же и на меня в тот самый день, который я прозвала Днем Письма, обрушилось несколько бед, от которых я еще и сейчас до конца не отошла. Но о них расскажу тебе в другой раз. Скажу только, что сейчас уже многое позади, и я начинаю потихоньку выходить из этого страшного оцепенения, почти как прежде радоваться жизни, и вот уже несколько вечеров подряд остаюсь в училище заниматься. Что касается Марьи, то поверженных осуждать негоже, а она, судя по всему, доживает в директорском кресле последние дни. Знаешь, если честно, нет у меня к ней настоящей злобы — я тоже порой слишком бравировала своей свободой, чем подрывала самые основы ее незыблемого авторитета. Также можно понять беднягу...

Валерка явно что-то задумал. Баба Маня считает, что это я расстроила его свадьбу со Светланой. (Видишь, все-таки во мне есть что-то роковое.) «Ты, девка, такого жениха упустила — на руках бы носил тебя», — сказала она вчера. Думаю, она права, но мне в отличие от нашего общего знакомого (дай бог ему счастья), этого пока не нужно. По-моему, Валерка собрался куда-то смотаться.

Если это так, мне его будет не доставать...»

Баба Маня в первый раз в этом году собрала на стол под старой грушей, осыпанной крупными гроздьями розоватых цветов с неведомым пряным ароматом. Вокруг них густо жужжали пчелы, то и дело две-три срывались на стол, деловито облюбовывая большой домашний кулич, облепленный разноцветной осыпью крашенных зернышек пшена. Баба Маня отгоняла их полотенцем, и они, сердито прожужжав над ухом, нехотя поднимались вверх, вливаясь в общий гул.

Соседка, худосочная, с глубоко запавшими угольками глаз

старушка Егоровна, уже успела отведать и крашенных в темно-луковый и синьковый цвет яиц и жареной курятины и теперь млела на солнышке, подставив его теплу все свое щуплое тело.

— Смотри, Егоровна, кабы тебя удар с непривычки не хватил, — предупредила баба Маня. — Оно сейчас обманчиво, будто и не джоже жарко, а до самого сердца достает. Дай-кось я тебе Петькину шляпу принесу.

— Да не колготись, Семеновна, у меня кожа сухая и толстая, не больно пропечешь.

И Егоровна, сладко зевая, лениво отмахивалась от чересчур настырных пчел.

Женя чувствовала, что в ее последнее время перенасыщенной событиями жизни наступила пауза. Как будто она погрузилась в невесомость: где-то в стороне от нее плавала прошлая, понятная и в то же время уже успевшая отдалиться от нее жизнь, а рядом витало еще не совсем понятное, но уже приближающееся к ней будущее. Ну, а сейчас у нее нет ничего, кроме этой раскидистой груши над головой, окутанной густой пеленой умиротворенного пчелиного чуда.

Егоровна задремала, склонив набок свою маленькую, обтянутую редкими черными волосами голову, и баба Маня все-таки нахлобучила на нее старую соломенную шляпу с выцветшей ленточкой.

— Я, наверное, тоже сосну, — сказала она, накрывая кулич большой кастрюлей. — Ты, Евгения, ежели куда пойдешь, прикрой сверху клеенкой, чтобы куры не нашкодили. Может, еще кто заглянет...

И баба Маня, глянув в сторону калитки, медленно побрела к дому, согнав по пути с клумбы нахального рыжего петуха.

Жене показалось, будто ее тихонько окликнули. Она встала и подошла к калитке. Никого. Лишь шарахнулся в кусты крыжовника черный Ибрагим, стерегущий слишком смелых скворцов.

Женя откинула ржавый крючок и выглянула в проулок, куда выходили дворы. Возле соседского забора увидела Петра с авоськой в руке, из которой торчали горлышки бутылок с водой и концы длинных, как палки, парниковых огурцов.

— Поди сюда, — подозвал он Женю, переминаясь с ноги на ногу. — Ну, чего у вас нового? Замуж еще не выскочила?

Он от неловкости заулыбался и переложил авоську в левую руку. Женя покачала головой и протянула Петру ладонь. Он суетливо пожал ее и, обернувшись несколько раз назад, где в конце улицы маячило светлое женское платье, побрел к калитке.

— А это что за чучело под старым лопухом? — спросил он, указывая пальцем на мирно дремавшую Егоровну. — Видать, от души разговелась бабка. Гляди-кось, а у вас чисто во дворе. Ну и ну.

Петр поставил бутылки на стол, авоську с огурцами повесил на сухой сучок груши.

— А мать где? — как показалось Жене, с опаской спросил он.

— Прилегла вздремнуть. Позвать?

— Нет, нет, не зови, — замахал руками Петр. — Вон и тетка идет. Иди сюда, не бойся, мы не боаемся, — негромко крикнул он подошедшей к калитке Алевтине.

Та осторожно прикрыла за собой калитку и, покачивая крутыми боками, засемила по тропинке на своих высоких каблуках.

Петр подмигнул Жене.

— Видишь, какая она у меня гладкая. Ну, садись, садись, тетка. Сейчас мы разговеемся...

Откупорив бутылку «Буратино», он плеснул в стаканы.

— А, и ты, бабка, хочешь? — Петр пододвинул к шевельнувшейся во сне Егоровне стакан. — Пей, пей, сегодня бог все грехи прощает. Ха-ха!

Алевтина села на краешек скамейки и то и дело опасно поглядывала в сторону дома. У нее было широкое скуластое лицо с безвольным подбородком и добрые серые глаза, так не гармонирующие с выкрашенными в зловещий черный цвет бровями.

— А вы, я гляжу, весело время проводите, — отметил Петр, окидывая взглядом заставленный тарелками стол. — Вон одна от этого веселья носом заклевала.

Он зашелся неестественно буйным смехом и снова налил в свой стакан.

Женя встала, чтобы принести из дома жареную курицу, но Петр крепко схватил ее за руку и силой посадил на место.

— Не спеши. У нас тут своя закуска на дереве растет.

Обернувшись, он вытащил из авоськи длинный огурец, ткнул им в солонку и протянул Алевтине.

— Ешь, тетка. Гибрид груши с огурцом, а пахнет кабаком. — Он вдруг оборвал свой смех. — Вон и мать. А где же Ибрагим? Ибрагим, Ибраги-им?

Он стал озиаться по сторонам, притворившись, будто разыскивает кота.

Женя видела, как баба Маня, замерев на мгновение на крыльце с прижатой ко лбу ладонью, вдруг по-молодому резво сбежала по ступенькам.

— Батюшки, да у нас гостей полон двор. Счас я табуретки из летницы прихвачу.

Она свернула с тропинки к летней кухне.

Петр торопливо налил в стаканы, отхлебнул из своего, снова долил из бутылки.

— Ишь, из какой посуды хлещут, — отметила подоспевшая с двумя табуретками баба Маня. — Счас я за хрустальными стаканами сбегаю.

— Да сядьте вы, наконец, мать, что ли! — нарочито громко

рявкнул Петр.— Хватит перед глазами мельтешить. И так сойдет. Не чужие мы вам.

Баба Маня послушно опустила на табуретку и пристально посмотрела на Алевтину. Та заерзала под ее взглядом, стала расправлять складки своего сиреневого в цветочек крепдешинового платья.

— А ты, Алевтина, вроде как похудала,— отметила она таким тоном, будто они расстались только вчера.— И платье тебе очень к лицу. А вот волосы зря в рыжину выкрасила.

Алевтина от смущения вся покрылась багровыми пятнами.

— Вы, мать, сразу уж и критикуете,— вступился за жену Петр.

— А что такого я сказала? Я не чужая все ж таки ей.

Женя перехватила взгляд Петра, на мгновение вцепившийся в мать. Была в нем и признательность, и теплота, и что-то еще, понятное, наверное, лишь им двоим.

— Ну, и пузырей в воде — так в глаза и шибает.— Поставив на стол стакан, баба Маня вытерла кончиком своего платка вдруг повлажневшие глаза.

— А это потому, что я ее на солнышке согрел. Физику, мать, надо знать.— Петр, откинувшись на спинку лавки, захохотал громко и безудержно.

— Господи, гром, что ли, гырчит,— спохватилась Егоровна.— Пойду-кося я домой белье посушаю, не то дождиком намочит.

— Напугал бедную пенсионерку.— Алевтина ласково коснулась рукой щеки мужа.— Смотри, как употел весь. Еще просквозит на ветру. Накинул бы чего...

— Там на вешалке в передней китель старый висит. Сбегай принеси мужу,— наказала баба Маня.

Алевтина послушно зашагала к дому.

— Ишь, небось, и это платье сама пошила. Мастерица,— похвалила баба Маня, глядя ей вслед.— Нехай и мне халат скроит из того сатину, что я под кабашные семечки взяла. Польшка в прошлый раз проймы заузила, руку не подынешь. Такой отрез богатый испортила... А я ей штапель подарю в синий горошек. Помнишь, что ты со своих курсов привез? — обратилась она к Петру.— Для меня яркий сильно, а ей, молодой, как раз к лицу...

«Что будет с человечеством через сотни, тысячи лет? Неужто и через столетия земная любовь останется такой же загадкой? Или же люди научатся управлять ею, подчинять воле разума? Если это случится, я им совсем не завидую... Снова весна и снова в душе пробуждаются надежды,— думала Женя, любуясь щедрыми красками заката.— Это хорошо, очень хорошо, что человек не умеет жить без надежд...»



## **ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБЫ!**

● В книжных магазинах книготоргов и потребсоюзов Российской Федерации книги можно не только купить, но и приобрести их по выигрышным билетам Всероссийской книжной лотереи.

● Стоимость билета 25 копеек. Сумма выигрыша (50 копеек, 1, 3 и 5 рублей) указана на внутренней стороне запечатанного билета.

● Вероятность выигрыша велика, так как из каждых 200 билетов — 69 выигрышных!

● По выигрышным билетам можно приобрести любую книгу или другие печатные издания по своему выбору из наличного ассортимента книжного магазина или киоска.

● Если сумма выигрыша меньше стоимости выбранной вами книги, можно произвести доплату наличными деньгами.

● Прочитанные книги вы можете предложить книжным магазинам для повторной продажи. Этим вы окажете добрую услугу другим книголюбам.

**Росглавкнига**

**Дирекция Всероссийской книжной лотереи  
книготорг**